

Эльчин
Сафарли

БЕСТСЕЛЛЕР ДУШЕВНОГО ПИСАТЕЛЯ ВОСТОКА

РАССКАЖИ МНЕ О МОРЕ

ИСТОРИЯ О ТОМ, ЧТО ПОРОЮ
НАДО ОБЪЕЗДИТЬ ПОЛМИРА,
ЧТОБЫ ОСОЗНАТЬ:
ВСЕ ВАЖНОЕ И ЦЕННОЕ
ЖДЕТ ТЕБЯ ДОМА.



Annotation

Вы когда-нибудь замечали, что город – как любимый человек? Он слышит тебя, заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у тебя есть, не задумываясь, больше или меньше. И с городом с этим, как с любимым человеком, у тебя отношения. Со взлетами, спадами и, случается, разочарованиями. Контрасты. Но какими бы они ни были, намного важнее то, что на глубине, под переменчивым течением моря. ТАМ ЛЮБОВЬ.

- [Эльчин Сафарли](#)

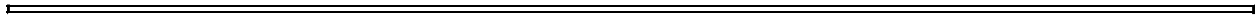
-
-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)

- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [Эпилог](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)



Эльчин Сафарли

Расскажи мне о море

Роман

© Сафарли Э., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

*Маме Сарие, открывшей мне красоту земли
Абшера*

*С благодарностью Рауфу Бабаеву, Ольге Фурсовой
и Эльвире Сафаровой – вы вдохновение и поддержка*

*Если бы я был моралистом и писал книгу, то из
сотни страниц девяносто девять оставил бы чистыми.
На последней бы написал: «Я знаю только один долг –
любить».*

Альбер Камю

*Если любовь ведет вас, следуйте за ней, хотя
дороги ее трудны и тернисты. Если она осенит вас
своими крылами, прислушайтесь к ней, даже если вас
ранил меч, скрытый в ее оперении.*

Джебран Халиль Джебран

Однажды я получил письмо от читательницы. Она писала: «В ваших текстах о детстве все слишком идеально. Мир утопает в добре, родители чуткие и отзывчивые, ошибок в воспитании не допускают. Да и герои сдержанны, одухотворены, наделены вселенской мудростью... Так не бывает!» На этой строчке я отложил письмо и вслух – то ли себе, то ли читательнице – ответил: «В детстве бывает».

Детство – волшебное время, когда все не то чтобы в идеале, а в свете. Какую бы картинку ни увидел, – пусть жесткую, страшную, – дорисовываешь ее воображением, поправляешь. Будучи ребенком,

обладаешь даром обращения всего на свете. «Не плачь, кусочки разбитой фарфоровой игрушки непременно воссоединятся!»

В моем детстве были и бедность, и насмешки, и крики взрослых, и унижения, и встречи со смертью – как у многих. Бесценная кисть детского мироощущения приносила красоту в тогдашние события: человечность в бесчеловечные обстоятельства, изящество в уродство, божественное в земное.

Во взрослой жизни взгляд стал другим. Теперь, отправляясь в воспоминания детства, записывая их, я вновь могу ощутить дуновение того дара, делающего все поправимым, чуточку идеальным.

Детство – источник чистейшей воды. Обращаясь к нему, мы можем утолить жажду, смыть слезы, запить ком горечи и снова вернуться в настоящее, от которого возможно спрятаться лишь на время и только в детстве.

Говорят, писатель на протяжении жизни пишет, переписывает всего одну книгу. Кто-то в «Расскажи мне о море» почувствует продолжение предыдущих моих историй. Но я лишь говорю о том, что считаю важным, продолжая писать свою единственную книгу.

1

Тянись к солнцу, как бы долго ни лили дожди

Первого снега на Абшероне приходилось ждать долго. О своем приближении он напоминал с ноября: ледяными порывами хазри, бледно-изумрудными волнами Каспия, сыреющими северными углами домов, обострением гайморита у местных жителей, темнеющим мхом на стенах колодцев и участвовавшими перебоями в подаче электричества, – но сам не спешил появляться. Точную дату не могла спрогнозировать ни одна метеослужба.

«Как снег на голову» – это про абшеронский снег. «Появляется и вовремя, и некстати», – говорила бабушка Сона, заваривая чай из карликовых желтых роз, кожуры айвы и липового меда. Перед тем как засыпать составляющие в керамический чайник, обдавала последний кипятком, иначе напиток свернется.

Когда выпадал снег, Сона готовила плов с поджаркой из мяса, лука, куркумы, каштанов и сушеных фруктов. Помимо слив и изюма, добавляла королеву абшеронских сухофруктов – курагу. Летом ее сушили, собирали в мешочки и отправляли на хранение в погреб, подвесив на крючки к потолку.

Плов с солнечными сухофруктами в честь первого снега – маленькая традиция нашей большой семьи. Стоило белым хлопьям замелькать за окном, как бабушка кричала мне: «Фи-и-ини-и-ик, бегом в погреб за Цветами и Солнцем! Я пока рис замочу, шафран заварю».

Я спешил вниз, доставал расписанный яркими цветочными узорами металлический поднос и снимал с крючка пахнущий летом мешочек с курагой. Сона называла поднос Цветами, а курагу Солнцем. Тем, чего не хватало черно-белой зиме.

Бабушка протирает поднос, и к цветам возвращается буйство красок – самые разные оттенки. Я рассматриваю роспись, выбирая взглядом светлые – бледно-оранжевые, сиреневые и нежно-зеленые. Темные – глубокие фиолетовые, синие и бордовые – недолюбливал, они пугали.

Сона высыпает курагу на поднос, сосредоточенно ее перебирает, освобождая от увядших листьев, обрывков веток, высохших пчелиных телец. На первый взгляд плоды абрикосового дерева одинаковые, но стоило

присмотреться, и открывалась индивидуальность каждого. Различия проявлялись в форме, прожилках на кожуре, сочности мякоти, во вкусе. Было у них и общее – наполненность щедрым солнечным светом.

Сона протягивает мне ягоду. Маленькую, кривую, сморщенную, в пятнах – самую некрасивую. «Не обманывайся внешним видом. Попробуй и увидишь – она самая сладкая».

Бабушка часто оказывалась права.

«Жизнь и люди – большой сад цветов. У каждого свои цвет, запах, место, история. Но абсолютно все они любимы солнцем. Тянись к солнцу, Финик, жди его, как бы долго ни лили дожди».

2

Тишина – самое ценное, что у тебя есть

Детство – легкое, красочное и отнюдь не мимолетное, как принято считать, время жизни. Оно вечное, остается в человеке до последнего вздоха.

В детстве за любым углом новое, интересное, неизведанное, в каждом дне десятки открытий. Каждое впечатление остается и внутри, и снаружи – навсегда, как шрам на коленке от падения в школьном дворе. Может, все это запоминается так остро из-за того, что впервые?...

Моя картинка о детстве – абшеронский берег, пустой, осенний (песок уже коричневого цвета и отчетливо сохраняет следы), с заколоченными несезоном кафешками, одинокими зонтиками-грибами. Дует ветер. Соленый и эмоциональный, но учтивый.

Мама держит меня за руку, стоим на берегу, смотрим вдаль. Мне пять лет, одет в куртку отца, синюю, на несколько размеров больше – спадает с плеч. Ветер перебирает каштановую густоту маминых волос. Рука у нее смуглая, с просвечивающими сквозь тонкую кожу синеватыми венами, ногти с вишневым лаком.

Не говорим. Под (не помню каким) забавным предлогом мы сбежали от всех, в свою тишину. Она у нас была одна на двоих. А может, мы просто одинаково ее ощущаем?...

Мама достает из кармана желтое яблоко и, опустившись на колени, протягивает мне. «Тишина – самое ценное, что у тебя есть, Финик».

Спустя время возвращались домой, где звучали родные голоса, пахло чаем из самовара. На кухне бабушка смазывала маслом горячие кутабы с тыквенной начинкой, а во дворе на ветру скрипела железная беседка-кюлефиренги.

3

Удел бессильных – объявлять войну тем, кто слабее

Хурму на абшеронских рынках продают с середины октября. Неспелую, не сочно-оранжевую, еще бледноватую, но все равно сладкую, долгожданную. Местные знают, что хурма по-настоящему зреет только в объятиях первых морозов. Уходит вязкость, и мякоть, вываливаясь сквозь трещины тонкой пленки-кожуры, – почти мед. К началу зимы дерево теряет листья, и с голых ветвей елочными игрушками свисают оранжевые шары.

Перед домом дедушки Асада был густой хурмовый сад. Ребенком дедушка сажал его со своим отцом – в послевоенные годы, когда есть было нечего и сытные плоды спасали от голода...

Когда с деревьев спадали последние листья, воробьи округи слетались на сладкую хурму, расклеывая ее прямо на ветках. Стаи не боялись пугал, не действовала на них ни одна хитрость, и, оберегая урожай, дедушка птиц отстреливал.

Мы с братом переживали, искали способ спасти воробьев. Как-то ночью, когда Асад заснул, мы выкрали из его комнаты винтовку, утопили в колодце. На месте оружия оставили анонимку. Полагали, что дедушка не вычислит автора. Долго обдумывали текст, листая бабушкины книги персидских поэтов, из которых позаимствовали «умные слова».

«Не будет проку от хурмы, за сладость которой заплачено жизнью птиц. Удел бессильных – объявлять войну тем, кто тебя слабее». Наутро нас с братом, конечно же, рассекретили и поколотили. Зато с того дня дедушка Асад перестал убивать воробьев. Купил у соседа Бахруза коротконогую собаку по имени Пялянг. Пес облаивал исключительно птиц, словно завидовал тому, что они умеют летать.

4

Завтра новый день. Я тебя люблю. Добрых снов!

Мне было восемь, когда меня впервые оставили дома одного. На три дня. У тети Зокры в аварии разбился сын, все родственники срочно выехали в город Евлах. Меня не взяли – простуда.

Мама порывалась переселить меня к соседке Арифке, я отказался. «Не буду спать не в своей комнате. Я взрослый, могу остаться один». Договорились: поживу дома при условии, что Арифа будет ночевать в нашей гостиной.

Первый день я наслаждался свободой, вседозволенностью: лопал печенье в постели, засыпал за полночь, три раза в день ел жареную картошку, утром не заправлял постель, одежду не вешал аккуратно на стул, а бросал куда попало.

На второй день тишина в доме стала давить, выталкивать за его пределы. Пропал аппетит – не хотелось картошки, ничего вообще; надоело не заправлять кровать, разбрасывать снятую одежду – все равно маленького бунта не заметит никто, кроме меня и молчаливой соседки; потерял интерес к вещам старшего брата – без него даже самая увлекательная игра выглядела бессмысленной. Перед сном мама не заходила в комнату, не целовала меня в нос со словами: «Завтра новый день. Добрых снов, Финик». Никто не называл меня Фиником.

Я скучал по семье. По голосам родных, их жестам, прикосновениям.

Убегая от молчания пустого дома, я одевался и тайком от Арифы выходил на улицу, гулял под окнами окрестных домов. Остановливаясь под открытыми форточками, слушал звуки больших и маленьких семей: мозаику голосов, звон посуды, лай собак в глубине дворов или кухонное мяуканье рыжей кошки, выпрашивающей у хозяйки фарш. Впитывал звуки чужого семейного уюта, грелся в них, легчало – ожидание возвращения домашних не казалось долгим, мучительным.

Спустя день приехали мама с братом. Возвратились любимые люди, а вместе с ними – желание играть, читать, есть картошку и даже суп с луком.

Всю ночь я не отпускал маму, прижимался к ней, извинялся за частое нежелание заправлять постель. Сейчас смешно, но тогда мне было важно ее прощение. Мама улыбалась, целовала меня в нос. «Завтра новый день.

Добрых снов, Финик. Я тебя люблю».

Интересно, что чье отражение: море – неба или небо – моря?

Тетя Джавахир называла меня специалистом по абшеронскому небу.

Меня, любознательного первоклашку, это удивляло. «Как небо может быть абшеронским? Ведь у него нет ни конца ни края. В небе, как в море, можно плавать всю жизнь». Тетя Джавахир, ущипнув меня за нос, отвечала: «Меньше умничай, Финик. Лучше поди воды из колодца принеси и ярпыза^[1] нарви. Чай заварю».

На Абшере всегда, в любых ситуациях, пьют чай – в стаканчиках-армуду, с пряным сахаром-ногулом.

Зачерпнув ведром воду, жду, пока гладь успокоится, разровняется и на ней прорисуется небо – с пухлощеками облаками, стремительными чайками или сверкающими звездами. В детстве я больше всего любил абшеронские море и небо, а еще... ржавую железную кровать с матрасом-сеткой на нашей веранде – атрибут каждого абшеронского дома.

Отслужившие свое кровати выносили из дома, использовали на открытом воздухе. Одни застилали матрас-сетку марлей и сушили на ней инжир (перед тем как собрать его в мешки, плоды посыпали мукой). Другие превращали кровать в батут для детворы. Мы с братом, закутавшись в пледы, летними ночами вели на них разговоры. Обо всем на свете. На фоне наших голосов стрекотали цикады, шумело море.

Мама с тетей Джавахир, накормив и уложив домашних, подолгу болтали, улегшись на железной кровати. Я устраивался у них в ногах, рассматривая чернильное небо, считая звезды. Мама меня укрывала. «Ноги не вытаскивай, комары кусают. Засыпай, завтра в семь подъем, на море». Я не сводил глаз со звезд и размышлял: интересно, что чье отражение, море – неба или небо – моря?

«Мам, завтра будет жарко, смотри, какой яркий Млечный Путь. Значит, вечером тоже пойдем на море. Ура!» Джавахир дергает меня за ухо, мол, тише, все спят. «Сария, твой сын станет метеорологом или оперным певцом. Готовься». Мама улыбается. «Ради Бога. Лишь бы с любовью. Остальное не важно».

6

У любого из нас есть прекрасный мир, и это повод для счастья

Мне было восемь, когда одноклассник вдруг спросил: «Что для тебя Бог?» Недолго думая я с абсолютной убежденностью ответил: «Море». Сказал и побежал на третий этаж школы, старинного здания с высокими колоннами, когда-то служившего военным госпиталем. Оттуда был виден кусочек моря. Я долго смотрел на изумрудную воду сквозь оконное стекло, а потом, подышав на него, вывел пальцем: «Бог».

Больше о Боге вслух я не говорил – не из страха или сомнений и даже не из-за того, что не спрашивали. Просто не хотелось. Слово три эти буквы были сокровенным паролем для входа в мир абсолютной красоты, и ею не хотелось делиться. (Хотя теперь я знаю, что она доступна всем, нужно лишь приглядеться.) Но и не из жадности. Я боялся, что кто-то нечуткий испортит сокровенное, обидит волны, и они перестанут обнимать береговую линию белоснежной пеной.

Три буквы – «б», «о», «г», – и ты *там*. Что *там*? Волны, расписанные лучами июльского солнца. Берег с горячим песком, почти желтым. Как солнце. Пересыпаю его руками, кожа теплеет, покрывается слоем матовой пыли. Смотрю на море, вокруг никого, мне хорошо. Я в истинном доме. А тот дом, где папа, мама, брат, бабушка и белый пес Пялянг... Это тоже мой дом. Он за пределами запароленного мира, и там все по-другому.

Там пугающая ночь, не вечные родные, брошенные животные и множество мелких неприятностей. В мире с паролем ночей не бывает, близкие не умирают, на каждую собаку приходится любящий хозяин, а от кизилых леденцов не горят щеки.

С того школьного вопроса прошло много лет. Много изменилось. Но я по-прежнему прихожу в истинный дом. Каждый день. Сажу на берегу, перебираю ракушки, думаю о том, что у любого из нас есть прекрасный мир с секретным кодом, и это само по себе повод для счастья. Наверное, есть и забытые пароли. Они потеряли его в себе и не знают, как вернуться туда, где вечное солнце. Но очень хотят.

Счастье приходит изнутри, а не снаружи

За жизнь сменил немало домов, стран – так сложилось. Чемоданы – преданные, молчаливые спутники, но с каждым переездом их становилось меньше. Я понимал, что самое важное в нас, а необходимое не требует большого пространства.

Есть у меня товарищ Борис, недавно сменивший имя на Светозар. Я по-прежнему зову его Борей. Боря был руководителем нефтяной компании, жил со вкусом, любил женщин, вырастил троих сыновей, посадил дерево.

Однажды утром он проснулся, собрал вещи и... ушел. В неизвестном направлении.

Ни в родной мегаполис, ни в любимую семью, ни в свой холдинг он не вернулся. Теперь Боря живет где-то в Индии; как он сказал – с открытыми глазами, не вслепую. Временами с разных электронных адресов пишет письма. В одном из них Борис рассуждал на тему истинной природы человеческой души.

«Друг, душа изначально – сат-чит-ананда^[2], то есть полная знаний, вечная, счастливая. В ней, а не во внешнем мире, хранится все, что приносит счастье. Только дети чувствуют это отчетливо. И некоторые взрослые. Не изводи себя. Бесполезное занятие. Лучше езжай к морю».

После слов Бори-Светозара подумал о том, как спокойно я всегда относился к вещам из прошлого, без особого трепета. С детства все складывал в себя, внутрь, глубоко, чтобы не растерять, чтобы не выпало во время очередной жизненной тряски. «Счастье приходит изнутри, а не снаружи», – верно подмечал в своих посланиях Боря.

Есть в моем чемодане то, что до сих пор перевозжу с места на место, – плотная белоснежная ткань, по краям отороченная голубым атласом. Некогда это были две скатерти, но бабушка Сона сшила из них одну. Взрослые натягивали ее под тутовником, а мы, детвора, взобравшись на дерево, стряхивали с веток сладкие ягоды.

Сона сидела неподалеку на камне, с гордостью наблюдала за градом обильного урожая, приговаривая «ай машаллах»^[3]. Полотну мы придумали имя – Агбулут, «белое облако».

Закончив, слезали с дерева, помогали перебирать ягоды, выкидывали случайные листья.

За годы Агбулут обветшал, не раз Сона его подшивала, штопала. «Финик, когда я умру, заberi Агбулута в свой дом, береги его. Он старенький, тяжести урожая не выдержит. Летом грей на солнце, зимой храни без сырости».

Агбулут до сих пор со мной. Зимними вечерами часто подношу его к лицу, вдыхаю ароматы детства: бабушкиных рук, медовых тутовых плодов, шальной беззаботности, дневного сна в увитой виноградной лозой кюлефиренги, прыжков с разбегу в прохладное море, надрезанного хрустящего арбуза, традиционного воскресного завтрака – яичницы с помидорами, сладкого чая и свежайшего хлеба с сыром. Согреваюсь.

Завтра отвезу Агбулута к знакомому портному, надо обновить по краям атлас. Как будет готово, загляну на рынок, куплю ведро белой шелковицы, обсыплю старичка ягодами. И он оживет.

Любовь дарит крылья. Пусть и невидимые

На Инжирной улице Абшерона жила удивительная собака по имени Балерина. С бежевой курчавой шерстью, черными глазами-пуговками, ушами-веерами и изящными лапами с длинными когтями. На вид обычная дворняга, если бы не одна особенность, породившая собачью кличку.

Стоило Балерине увидеть знакомые лица (она узнавала всех жителей улицы вплоть до малышни!), как она поджимала хвост, становилась на цыпочки и, скрестив лапы, начинала скулить, задрав мокрый нос к облакам. Подвывала не жалобно, а музыкально, чередуя высокие ноты с низкими, – подыгрывала своему приветственному танцу. Тонкие Балеринины лапы сплетались в такт ее музыке, отрывались от песчаной земли, выделявая в воздухе нелепые па.

Красиво смотрелась, чертовка! Особенно летом, когда на фоне ее представления изливались медом инжирные плоды, а гранатовые соцветия осыпались под бризом алыми лепестками.

В вихре танца собачьи глаза закрывались, и артистка будто помещала себя на красную цирковую арену, однажды виденную в телевизоре. (Была у абшеронцев традиция выносить во дворы голубые экраны, особенно когда они были не в каждом доме. Вот и подглядела собака.) Эх, мечты, мечты... Но Балерина была счастлива. Какая разница, в какой ты реальности, когда душа переносится произвольно, куда хочет. Стоит только закрыть глаза.

Представление длилось минуту, после чего Балерина возвращалась на четыре лапы и, опустив нос, обыкновенно, по-собачьи, виляла хвостом.

Гордая была псина, хоть и ничейная: не кланчила угощений, не подлизывалась, не путалась в ногах. Она лишь улыбалась, получая... да что Бог пошлет. Бывало, улыбку или поглаживание, случалось, кусочек колбасы или надкусанную котлету, временами безразличие, а иногда и шишку в бок (сыновья портнихи Зибейды не любили Балерину, за что мы с братом точили на них зуб).

Ни на что не обижалась удивительная собака, словно объясняя людям – чаще эгоистичным и неблагодарным, – что любовь ничего не требует. Сердце любит, переполняется божественным, изливается через край, и неважно, получаешь ли такую же щедрость в ответ. Это не жертвенность. Это то, что делает тебя лучше, дарит крылья. Пусть и невидимые.

Одним осенним днем, в те времена, когда телевизоры больше не выносили во дворы, а инжирные деревья сбросили листву, Балерину сбила машина. Чужая. Не заметил водитель перебегающей дорогу псины, переехал ее изящные лапы, с шумом и мутным выхлопом скрылся за поворотом. Балерина, лежа на мокрой земле, заскулила. Не жалобно, а напевая мелодию из любимого представления.

Долго лечили чудесную собаку, всей улицей. Искореженные открытыми переломами лапы отчаянно болели, но Балерина не обращала внимания. Ведь теперь она жила в теплом доме, в комнате с телевизором, который показывал цирк, ту самую арену. Балерина закрывала глаза и уносилась в мечту. Туда, где ничего не болит, где греет свет софитов и аплодируют восторженные зрители.

Задние лапы пришлось ампутировать – не срастались кости, возраст. Вместо них приделали коляску, которую быстро смастерил Джавид-уста, чеканщик из соседнего поселка. Он и забрал к себе Балерину.

В центре гостиной нового дома лежал красный килим^[4], который облюбовала собака для вечеров, когда семья смотрела телевизор. И вновь Балерина представляла себя в цирке, танцующей для любимых жителей Инжирной улицы, по которым скучала. Она навещала их, но теперь нечасто. У нее была новая жизнь. В прошлую она возвращалась, только закрыв глаза.

Ты уже видишь дорогу к морю, а они ещё ищут

В детстве у меня был друг по имени Нияз. Уста^[5], создатель музыкальных инструментов, смиренный дервиш, житель Пыльной улицы, беспощадно заносимой песком. Именно он, взяв меня за руку, привел к миру, который я слышал в себе, но смутно. Не из-за слабого слуха. Межмирье открывается не сразу.

Мы приходили к морю. Если летом, то босиком. По горячему песку с почти невидимыми крупичками соли. По округе разливался азан. Гилавар – ветер теплый, хаотичный, игривый – то усиливал, то приглушал священные звуки.

Как-то я признался мастеру: «Уста, наверное, плохо так говорить... Меня пугает азан. Не знаю почему. Он же пугать не должен». Нияз остановился, посмотрел на море – еще десять шагов, и мы у первой волны. «Финик, ты не азана боишься, а себя. Настоящего, полного любви. Тебе скажут, что для современной жизни не годится быть любовью. Это их выбор. Не осуждай и, выбирая любовь, не думай, что становишься выше других. Ваше различие только в том, что ты уже видишь дорогу к морю, а они еще ищут».

Нияз отыскал на берегу высокий песочный сугроб, присел на него. Я плюхнулся рядом, закинул левую стопу на правое колено – кусочки ракушек впились в кожу. Смахнул их и, улыбнувшись Каспию, протараторил: «Все же Бог живет в море, а не на небе или в сердце, как говорит бабушка. Посмотри, какое оно красивое. И все любят море. Как Бога».

Уста отвечал мягко, медленно, не отводя взгляда от первой волны. «Ты прав, Финик. Бог живет в море. И не только там... Смотри, какая большая, без пены. Такие волны дед называл бескрылыми птицами, умеющими летать... В каждом из нас море проявляется по-разному. В ком-то штилем или штормом, в других приливом или отливом. В море и счастье, и прозрения, и опасности, и неизбежности. Не пытайся определить, где оно кончается. Зачем ограничивать жизнь?»

Однажды Нияз ушел. На Абшероне и в ближайших городах его больше

не видели. Первые месяцы я болел, тоскуя по другу, приходил к его ветхому дому с колодцем, искал у линии первых волн.

«Его нигде нет», – думал с отчаянием. И вдруг понял ошибку – слово «нигде». Нияз жил во мне. Как и все, что я любил. Потерянное любимое может исчезнуть с соседней улицы, но оно непременно нас ждет. В области сердца.

Перед сном подумай о завтра. В нём – новое утро, новая жизнь

Утром отец учился, днем разносил почту, ночью разгружал машины с камнями. Единственный кормилец большой семьи; мама занималась хозяйством, растила детей. Папиными отдушинами были мы и фотография, которой он увлекался со школы. Снимал нас на пленку, негативы проявлял в красном свете дальней комнаты. По утрам на веревках вдоль стен висели влажные черно-белые листики. Высыхая, картинки обретали историю – с героями, местами, предметами.

Снимки размытые, думаю, намеренно. Чем дольше на них смотрю, тем острее ощущение, что еще чуть-чуть – и услышу звуки, почую ароматы пойманного мгновения.

Мама бережно складывала отцовские фотографии в альбом с зеленой бархатной обложкой (сама обшивала). Любила его перелистывать, показывая нам с братом. Я не смотрел. Боялся застрять в ушедшем времени: засосет, и я не доберусь до желаемого. В чем был корень страха? В том, что где-то глубоко-глубоко я понимал, что прошлое люблю сильнее мечты.

Мама уловила мои опасения. Стала чаще говорить со мной о будущем, о том, что ждет впереди. Например, о поездке на Праздник весны в Шеки, где горы круглый год не снимают снежную шапку, река Гурджана с таянием льда поет песни, а дядя Салех расписывает уваренным свекольным соком поверхность медовой халвы.

В старших классах, когда мы переехали из Абшерона в город, меня мучил один и тот же сон: вместе с героями своего детства – с теми, кто навсегда внутри, – спускаюсь к морю, как вдруг некая сила прижимает меня к черной стене, не дает двинуться. Никто этого не замечает, не слышит моих криков. Друзья уходят.

Не выдержал, рассказал о страхах отцу. Он меня обнял. «Не надо бояться прошлого, Финик. О нем надо помнить, но глубоко не ныряй. А если погрузился вглубь, успевай вовремя вынырнуть. Иначе задохнешься. Перед сном думай о завтра. В нем новое утро, новая жизнь».

С тех пор каждый раз, когда мысли уносили далеко в прошлое, я возвращал себя в настоящее, вспомнив о мечте, к которой стремился

вопреки трудностям. Тот сон больше не снился.

Без мечты сердце тускнеет

В тридцать восемь лет мама стала брать уроки фортепиано. Два раза в неделю приходила с работы раньше обычного, быстро нас кормила, обнимала отца, целовала нас с братом в макушки и, захватив папку с нотами, убегала на занятия.

В детстве Сария окончила музыкальную школу, но инструмента в доме не было, возможности купить – тоже. «Я по кусочкам собрала мечту. Без нее сердце тускнеет, Финик. Не прощу себя, если не сыграю сама на своем пианино „Фантазию-экспромт“ Шопена».

Дом педагога Нины Абрамовны находился в тридцати километрах от нашего абшеронского поселка, маме приходилось ехать на электричке, потом два километра подниматься по склону. Возвращалась к девяти, я встречал ее на станции Инжирная.

Летом темнело поздно, в девять вечера море еще читалось. Мы останавливались там, откуда его хорошо было видно, смотрели на воду, переливающуюся закатным багрянцем. Мама рассказывала о занятиях, о том, что пальцы уже не те, плохо слушаются, играть пока получается на уровне третьего класса, что откладывает с зарплаты на белое пианино, которое продает Хафиза, тощая злобная соседка, и как было бы хорошо, согласись та на рассрочку.

Море засыпало у нас на глазах. Однажды, перед тем как поднять сумку (она клала ее у ног; если бралась за ручку, значит, пора домой), мама улыбнулась Каспию и сказала: «Когда мы с твоим отцом задумались о вас, я спрашивала себя, зачем мы рожаем детей. Себе? Миру? Трудностям и несправедливостям? Появлялся один ответ: чтобы показать им море... Потопали, Финик, нас ждут дома».

Нас действительно ждали. Отец стоял или прохаживался у калитки, тревожно раскуривал сигарету, выгуливал на поводке Пялянга. Мама подбегала к нему сзади, обнимала со спины: «Ты нас ждешь, Воробушек?» Он смущался. «Пса выгуливаю, не видите, что ли». Отец редко говорил о чувствах, пряча мягкое сердце под оболочкой суровой сдержанности.

На веранде сидел брат, караулил тропинку сквозь сад. В руке – свернутый рулетом кутаб с зеленью. «Эй, вы что так долго? Я все кутабы спас от холодной смерти. Остывали, не пропадать же им».

В один из таких вечеров, вернувшись домой, мы увидели в гостиной пианино. Светло-коричневая «Беларусь» (отец купил не у ведьмы Хафизы). Впервые на папин день рождения Сария сыграла на нем Шопена.

Все последующие годы она ставила рядом с инструментом, на пол, банку с водой, чтобы он не рассыхался. Мы с братом не раз нечаянно ее переворачивали, но никто об этом так и не узнал.

Через трещины в нас проникает свет

Вечерами дедушка Асад ходил в чайхану. На моих каникулах, когда не нужно было рано ложиться спать, брал и меня. За железными столиками собирались мужчины, распивали чай из топившегося дровами самовара, неспешно беседовали, громко спорили, резались в нарды, слушали мугам.

Читали стихи, часто Джавида^[6]. «Hr qulun cahanda bir pnahı var / Hr hlihalın bir qiblgahı var / Hr ksin bir eşqi, bir allahı var / Mnim tanrım gözlükdir, sevgidir»^[7]. В старших классах по обрывкам воспоминаний я разыскал услышанные от дедушки строки. Стали любимыми.

Сижу в чайхане в окружении Асада и еще двоих старцев. Они заботливо заказывают мне айвовое варенье, а сами, не нарушая традиции, пьют чай с колотым сахаром «келле генд». Варенье Асад позволял себе исключительно на завтрак, мазал на хлеб с маслом.

Чайчы^[8] Агабала, пузом рассекая клубы сигаретного дыма, приносит мне варенье и горячий хлеб. «Небось проголодался, перекуси, малыш. На нас не смотри, старикам есть вечерами нельзя, животы мешают. Вот и пьем чай. Çay ndir, say ndir!»^[9] Я представлял Агабалу большим кораблем, везущим много еды, – над ним неустанно кружат чайки, а я, стоя на мачте, подбрасываю им хлеб, обмазанный айвовым вареньем.

Наш столик в чайхане самый тихий, беседы вполголоса. О вере, суфизме, поэзии, поиске. Дедушка говорит о мыслях, среди них встречаются такие, от которых нет противоядия, приходится додумывать до конца. Больно, сердце покрывается трещинами, вот-вот рассыплется на кусочки. Но там, где наступает конец, скрыто начало. «Beylr»^[10], через трещины в нас проникает свет, согласны?»

Они рассуждают о том, что жизнь не любит привязанностей, – ничего вечного, неизменчивого на земле нет. Хотя мне и семь, понимаю, о чем речь. Накануне августовский солнцепек сменился ураганом, и мой песочный замок на берегу безжалостно смыло волной.

Наутро после бури я пришел на пляж и не застал того, что создавал целых три дня. Ни следа. Ласковые волны спокойного моря, глянцевая поверхность мокрого песка – природа вернула свою первозданность. Расстроенный, прибежал домой, обнял дедушку.

– Деда, почему волны разрушили мой замок?

- Чтобы кто-то построил на его месте другое и тоже понял важное.
- Это несправедливо... Что осталось мне?
- Воспоминания, понимание и возможности. Например, любить больше, делать мир лучше и построить то, что хочешь, на берегу своего моря.
- Моего?!
- Да.
- И где же оно?
- Внутри тебя, Финик.

За каждой тягостью наступает облегчение

В поселках Абшерона стучатся во все двери, когда кто-то тяжело болеет или умирает. Люди собираются вместе, помогают. Мало кто отказывает. Не из-за того, что беда может произойти с каждым. «А тогда почему?» – спрашиваю бабушку, перемалывающую в мясорубке орехи. Завернутое в одеяло тесто подходит в самой теплой комнате дома.

«Милосердие никогда не бывает ошибкой, Финик. Это начинка жизни, как молотый с сахаром фундук в шекербуре».

В третьем классе болезнь настигла моего одноклассника Исрафила. Мы с ним собирали с деревьев божьих коровок в бутылку из-под кефира, выпускали их на берегу Каспия. Нам казалось, что только у моря возможна абсолютная свобода.

У Исрафила обнаружили уплотнение под мышкой. Увезли в город, в больницу. Его место за предпоследней партой долго пустовало, никто туда не садился. Опечаленный, я возвращался домой и ложился рядом с сидящей на ковре Соной, с молитвой на устах перебирающей четки.

Она гладила мои волосы, лечила теплом рук. Легчало. Сона доставала из зеленого бархата Священную книгу, открывала где-то посередине, указывала на одну из арабских вязей. «Это аят из суры „Раскрытие“. Знаешь, что тут написано? „Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение“».

Все так, бабуль. В трудных ситуациях лучшее, что можешь для себя сделать, – не забывать, что все к лучшему, пусть и не сразу это очевидно.

Спустя четыре месяца Исрафил вернулся в школу. Это было счастьем.

Идя по жизни, я встречал людей, чурающихся хорошего больше, чем плохого. Потому что плохое не боишься потерять. Так и живут в страданиях, как вдруг жизнь преподносит им то, чего страшатся и желают одновременно, – счастье. Они шарахаются, не верят, не хотят прикасаться, чтобы не отняли. Со временем приходит смирение – учишься жить в одной комнате со счастьем, поначалу с непривычки щурясь от его сияния. Так человек-страдание срастается с новой жизнью, невольно сбрасывая старую кожу.

И в счастье, и в горе скрыто исцеление. Перерождение человека.

В темноте свет ещё ярче

Когда исчезало солнце, а по небу разливались чернила, я ощущал бессилие. Темнота неведома, полна неизвестности. Море, переливающееся при солнечном свете надеждами, во мраке походило на черную дыру – так и с курса легко сбиться. Поэтому ночами я боялся закрыть глаза: вдруг просплю и мой корабль-мечта разобьется о скалы.

Обычно перед сном отец заходил в нашу с братом комнату, рассказывал о виденных странах вечного лета и холодных краях, где стоит утру начаться, как наступает вечер. «На Абшероне круглый год солнце, Финики. Еще и море под боком. Не забывайте за это благодарить».

Одной летней ночью, когда все в доме спали, отец меня разбудил. «Вставай, Финик. Нас ждут», – прошептал он, помогая одеться. Мы на цыпочках вышли в сад. Нас встретил удивленный Пялянг, лежащий под тутовником и увлеченно жующий носы моих кед.

Встревоженный неожиданным появлением хозяев, он пытался залаять, но, получив из отцовских рук кусочек колбасы, стих. За еду, в особенности порцию «Докторской», он забывал обо всем. «Вот бы съесть колбасы и позабыть о страхе ночи», – мечтал я, вслед за отцом пробираясь сквозь виноградник. Отец направлялся на задний двор, к лестнице на крышу.

Мы лежали на нагретшемся за день шифере, смотрели в ночное небо. Неподалеку звучала мелодия волн, железнодорожные рельсы устало вздыхали – остывали в ночной прохладе, с соседней улицы доносилась игра рук пекаря Натиг-бея, отбивающего тесто для утреннего хлеба, внизу поскуливал Пялянг, слопавший угощение и желающий добавки.

Глаза наполнялись звездами. Перед нами расстилалось темное полотно со сверкающими крупичками, отражающимися на листьях деревьев. Мрак больше не пугал.

«Малыш, в темноте свет еще ярче. Он повсюду. Даже на земле. Посмотри, как сияют в малиновых зарослях светлячки».

Мы спустились, вернулись в дом, я лег в кровать и, запрокинув голову, посмотрел в окно. Сквозь него по-прежнему мерцали миллионы звезд. «Они похожи на человеческие надежды», – подумал я и провалился в сон.

Мы с братом Чингизом построили домик на дереве. На заднем дворе, в ветках раскидистой чинары, чудом прижившейся в соленой почве Абшерона. Натаскали из подвала досок и под дедушкиным руководством соорудили жилище. Перетасили игрушки, по стенам развесили фотографии из семейного альбома, журнальные вырезки машин, этикетки с бутылок фруктовых лимонадов, календарики с переливающимися картинками. В домике было все, что напоминало о радостях ушедшего времени. Так и называли – Пещера Воспоминаний.

В Пещеру заходили и взрослые. Чингиз гордо демонстрировал коллекцию моделей автомобилей, а я просил поделиться хотя бы одним интересным воспоминанием. Храню их в себе, временами перелистываю, возвращаясь в Пещеру. Теперь она не в ветках чинары. Внутри меня.

Тетя Джавахир все никак не приходила в наше убежище. «С пустыми руками в новый дом являться не принято. Вы о традициях забыли?! Вот напеку вкусенького и приду». Одним августовским летом Джавахир появилась в Пещере Воспоминаний с подносом бадамбурь^[11], обсыпанной белоснежной пылью сахарной пудры. Через плечо был перекинут термос с чаем.

Мы уплетали лакомство, пока тетя вспоминала, как в восьмом классе родители перевели ее в двести двадцать пятую школу, у Стеклянного базара, где продавали самые вкусные сухофрукты, аромат которых разлетался по всему району.

«На переменах мы со Слонихой-Фидан, моей подружкой-толстушкой, бегали на базар за абрикосовой лавашаной^[12]. Сладкая-пресладкая, пахла летом. По воскресеньям у входа на Стеклянный базар, который на самом деле назывался Нагорным, стояла бабушка Зина, продавала ландыши. Мама их покупала. Сама себе дарила цветы.

Мы выходили с базара, переходили дорогу и смотрели индийские фильмы в кинотеатре имени Джафара Джаббарлы. Помню, как зал ревел, а я ждала эпизодов с плясками. Мне хотелось танцевать, как героини. Узнав о моем желании, мама записала меня в танцевальный кружок. Получалось хорошо, на конкурсы отправляли, готовили к поступлению в хореографическое училище. За месяц до экзаменов я влюбилась. По

дурости забросила танцы. Жалею».

Мамина подруга Саадат (талантливая флейтистка, говорившая низким, как из трубы, голосом) пришла в Пещеру Воспоминаний с историей о мечте детства – волнистых попугайчиках.

«Мама не разрешала птиц – аллергия. С этой мечтой я и замуж вышла, но все не получалось ее исполнить, находилось сто помех. То Мехмет маленький, то клетку некуда поставить, то кошка в доме. Однажды я сильно заболела, попала в больницу. Лежу в палате, думаю: „Ну и дура ты, Саадат! Давно надо было завести птичку. Вдруг помрешь, не исполнив детского желания“. Наутро после выписки пошла в зоомагазин, купила двух попугайчиков. Зеленых. Не откладывайте мечты на потом, Финики».

Пещеру Воспоминаний навещал и дядя Рафиг (носивший закрученные темно-коричневые усы – настоящий восточный Мюнхгаузен!). Он был моряком и, возвращаясь из плавания, привозил истории городов, которые мы видели лишь на школьном глобусе. Я хорошо запомнил ту, что из Стамбула.

В 1632 году османский инженер-изобретатель Хезарфен Ахмет Челеби, смастерив себе крылья, перелетел Босфор. Прыгнул с Галатской башни и долетел до азиатского берега Стамбула. Люди смеялись над мечтой Хезарфена пересечь по небу пролив. Они так и остались на земле, а наш герой притронулся к облакам и получил в награду от султана Мурада Четвертого мешочек золота. «Финики, берегите в себе Хезарфена, не слушайте тех, кто в вас не верит, и чаще смотрите вверх – там звезды».

Отец говорил, что в путешествии важен не пункт назначения, а сам путь. Я с ним не соглашался, вспоминая маршрут своего маленького, но самого частого странствия – из дома на море, потом в Пещеру Воспоминаний.

Пройдя всю дорогу, я был обязан оказаться именно здесь. На дереве слушал истории абшеронских ветров – они проникали в домик сквозь окна, щели и даже на крыльях ненароком залетевших стрекоз. Часами напролет я бродил из одной вселенной в другую. Чем это было? Бегством от скуки? Спасительной иллюзией? Одно знаю наверняка: именно в Пещере Воспоминаний я начал сочинять миры.

Мечта требует труда

После семидесяти дедушка Асад полюбил телевизор. Подолгу сидел перед ним, задерживая внимание на выпусках новостей или передачах про море. Бабушка ревновала, бранилась из кухонных недр. «Откуда такая напасть, Господи помилуй? Весь день перед чертовым ящиком! Раньше занимался делами, плавал, помогал по хозяйству. А сейчас засел дома, только раз в день с внуками к морю спустится. Во всем виноват мениск, будь он неладен!»

На семьдесят первом году в дедушкином коленном суставе обнаружили разрыв мениска – оторвавшаяся часть вызывала боль, мешала ходить. Врачи настояли на операции. После нее нога перестала слушаться. От морских заплывов и погружений на глубину пришлось отказаться. Так Асад и влюбился в телевизор, в него прятался от тоски по подводному миру.

Взрослые домашние удивлялись: такой отважный человек – и сдался. Бабушкина знакомая, розоволосая болтушка, называющая себя астропсихологом, объясняла дедушкино состояние неким периодом Сатурна, наказала по субботам кормить ворон или черных жеребцов. В следующие выходные бабушка поехала с ведром размоченного хлеба на местную свалку, обитель ворон, а маму отправила на ипподром искать вороного скакуна...

Мне нравилось новое увлечение Асада – больше времени проводили вместе. Пока он смотрел телевизор – в очках, со стаканчиком чая, – я сидел рядом, наблюдая за его эмоциями. Дедушка реагировал открыто, вслух. Во время новостей восклицал: «Человек – продукт среды. Создайте благоприятную среду – и получите хорошее общество!» Передачу про тернистый жизненный путь знаменитости комментировал: «Иногда человек не хочет знать, чего хочет на самом деле. Так ему спокойнее».

Я слушал его слова и ждал июля, когда мы с Асадом сядем в автобус и, как обычно, уедем за четыреста километров на юг – к горам, укрытым одеялом реликтовых лесов.

Там жил дедушкин друг Гусейн, худощавый мужчина с ниткой седых усов под носом-клювом. Он быстро передвигался, ловко взбирался на гигантские самшиты и по звукам из чащи определял, нет ли рядом диких

животных, например леопарда. Когда-то он на них охотился, но после схватки со свирепой самкой (она разодрала ему правую ногу, оставив глубокий шрам) утопил ружье в горной реке, посвятив себя лесу и его жителям.

«Прежде на охоте я убивал легко, но сегодня уверен, что это не легче, чем познать себя истинного».

Дядя Гусейн построил на вершине горы дом из трех комнат, куда переехал с женой. Нам с дедом выделяли дальнюю комнату с окном, обрамленным желтыми розами.

Перед домом были пасеки. Не дыша, я подкрадывался к ульям, наблюдал за сосредоточенной работой жужжащих пчел. Мне казалось, что каждая из них трудится над своей мечтой – ежедневно, без выходных, не сдаваясь. Вдохновленный, я бежал с впечатлениями к дедушке.

«У пчел многому можно поучиться, Финик. Взрослея, человек сам лепит себя. Неважно, что было или не было, – это прошло, зачем туда возвращаться? Нет смысла списывать свои неудачи на посторонние причины. Разве что на собственную лень или банальное нежелание меняться. Мечта требует труда, Финик... Собирайся, пора на прогулку».

Дядя Гусейн вел нас по лесу, как по своему дому. Когда у бабушки начинала болеть нога и он садился на лошадь, я пользовался моментом, убегал вперед. Рассматривал покрытые мхом толстые стволы железных деревьев, отгоняя мысли про гулейбанов – громадных леших. Согласно восточной легенде, гулейбаны, да и демоны тоже, обходят стороной тех, кто носит булавку. Моя была прицеплена к изнанке брюк.

Ночами мы засыпали под одеялами из овечьей шерсти. В горной прохладе я проваливался в сон, стоило положить голову на подушку. Просыпался с рассветом. Не открывая глаз, прислушивался к прекрасному, доносившемуся из окна: окруженный оранжевыми горами, дядя Гусейн читал молитву. Я не понимал произносимых им слов, но невольно шептал спасибо. За ощущение новой жизни, рождавшееся во мне одновременно с рассветом.

Торопись любить в каждом вдохе и выдохе

Лучше всех нашу семью знала Иллюзия – в нескольких поколениях. Много видела, слышала, но молчала. Каждые полчаса была в свой гонг, со стены наблюдая за жизнью тех, кому преданно служила.

В ответ Иллюзия хотела малого: от взрослых – время от времени заводить ее механику, от детей – не бросаться игрушками. Она хорошо помнила, как снежным вечером пятьдесят третьего племянка прабабушки Пярзад Саида запустила в нее мячом, вдребезги разбив стекло на изящном ореховом корпусе. Пярзад, да упокоит ее душу Аллах, поняв, что это дело рук шкодливой Саиды, хотела ее наказать, но ушлая девчушка свалила все на кота Барона, и беднягу отшлепали газетой.

Иллюзией звали старинные гулко бившие настенные часы с ажурным маятником. Как она оказалась в нашей семье, никто не знает. Создал ее немецкий часовщик Май. Корпус из ореха редкого вида, бронзовый маятник, позолоченный пружинный механизм с серийным номером и выбитым на нем именем мастера.

Бабушка Сона трепетно ухаживала за Иллюзией и перед смертью попросила: «Что бы ни случилось, не продавай часы. В Иллюзии время наших предков. Заводи ее осторожно, не рывками, иначе механизм обидится».

Иллюзия дружила не только с некоторыми домочадцами, но и с азаном. Когда он доносился из ближайшей мечети, она затихала, будто невидимая рука придерживала пальцем маятник. А вот радио и телевизора Иллюзия не выносила: стоило их напористым звукам заглушить гонг, как она волшебным образом была в него снова, назло технической логике.

Теперь Иллюзия живет со мной, напоминая своим боем о том, что я дома, что время быстротечно, оттого бесценно, хотя многие из нас им пренебрегают. Именно поэтому Сона назвала часы Иллюзией.

«Людам кажется, что они умеют контролировать время, задерживать его или ускорять. Что время принадлежит им, а не наоборот. Финик, бережно распоряжайся минутами. Растрачивая время, растрачиваешь мечты. Торопись любить, каждую минуту, в каждом вдохе, выдохе. Времени мало, глупо тратить его на суету, конфликты, нелюбовь.

Что будет, когда эта часть нашего путешествия завершится? О смерти

не надо думать, она все равно случится. К ней не нужно готовиться – прими как неминуемое пробуждение ото сна».

Никто не заберет из мира ничего, кроме опыта. Зато что-то оставит после себя. Хорошо, если полезное, вдохновляющее. Иногда за целую жизнь достаточно посадить одно дерево, под которым однажды укроется от дождя или зноя усталый путник.

На заре студенчества, в Париже, я попал на Монпарнасское кладбище. В его малой части набрел на необычную могилу. Величественная мраморная кровать с ангелом в изголовье, на каменных простынях лежат роскошно одетые супруги. Она в платье с декольте, он в костюме-тройке и с блокнотиком в левой руке. На могиле надпись: «Семья Пижон».

К чему такие изощрения? Недоумевал: по молодости или оттого, что вырос на земле, где могила ничего не значит, а к физическому телу – временной оболочке – не привязываются.

Как-то спросил у Асада, не боится ли он смерти. Дедушка улыбнулся: «Я думаю о другом, Финик. Что полезного сделал и сделаю за отведенное мне время. Еще Руми писал, что не надо искать могилу в земле. Знаешь, где она? В том, что отдали в мир. Я старался жить любя, не знаю, насколько получилось. В любви нет власти, ревности, амбиций. Чем щедрее делишься любовью, тем ее у тебя больше».

Перестань себя бояться – ты никогда не один

Мне четырнадцать. Это была самая холодная зима, какую видел на Абшероне. Дул беспощадный хазри, всхлипами из прошлого изводящий чувствительные души, морозными пощечинами бьющий деревья и срывающий крыши с хлипких домов. По приказам ветра волны то уносились в море, то нападали на берег, разрушая дамбы.

На четвертый день января пришла весть о пожаре на нефтедобывающей платформе в акватории Каспия. Из-за шторма оборвался газопровод, заживо сгорели тридцать три человека, жители абшеронских поселков. Абшерон погрузился в траур. Семьи погибших обходили линию берега, надеясь, что море вернет тела отцов, мужей, сыновей.

Всю ту зиму Сона не пропустила ни одного фаджра^[13]. Белая нить рассвета только проявлялась на восточном горизонте, а бабушка, подняв руки к небу, уже произносила такбир^[14].

На третий день траура, раньше обычного вернувшись из школы, услышал разговор Соны с Асадом. Бабушка держала в морщинистых руках Коран и, склонившись над ним, плакала. Тихо, смиренно. «Боль в моей душе так же бушует, как хазри за окном. Буду молиться, чтобы души погибших нашли покой, а их близкие – силы пережить горе». Я бросил портфель на пороге, вернулся на улицу, где усиливался ветер. Побежал в сторону моря – быстро, не слыша дыхания, не думая, что впереди.

В голове пульсирующей воронкой крутились мысли. О том, что плачущие дети и старики – страшная несправедливость; о том, что подло, когда сильнейшие отбирают все у слабых; о том, что одним суждено жить, другим умирать, и неизвестно, что предписано тебе и твоим близким; о том, что устал жить на полуострове, обдуваемом свирепыми ветрами.

«Неужели чертов хазри не оставит нас в покое? Хватит мучить людей!» – злость переполняла меня, я бежал, преодолевая удары холодного ветра. «Надоело прятаться от тебя, слышишь, надоело! Я здесь, я пришел к тебе. Говори, что хочешь! Ну же, говори!»

Не заметил, как оказался у моря. Оно бросалось волнами, зеленюче-раззеленая вода, словно яд, уничтожала рыбацкие лодки, разламывая их на

части. Свистящий гул оглушал, прибрежный песок хлестал по щекам, заполняя глаза. Ничто не могло меня остановить. Я стоял перед бушующим ветром и кричал изо всех сил. Жаждал схватки.

Не верил, что вернусь домой прежним. Так и случилось. Промок до нитки, ушиб ногу, красные от песка глаза, температура. Несмотря на это, внутри я светился победой. Именно в тот день сквозь бурю разглядел маяк, ждущий меня, указывающий дорогу. К себе. Встреча с ним стала важной частью взросления.

Слег с жаром, опухшим горлом, не ел, не пил. Родители спрашивали о произошедшем, о том, как я оказался у штормящего моря. Молчал. Это была моя схватка, как мне тогда казалось, с несправедливостями мироздания. Со временем осознал, что с собой.

Сложная выдалась зима, никогда ее не забуду. С тех пор не боюсь ветров, отправляюсь им навстречу в любое время года. Ветер нашептывает истории, которые должны быть рассказаны. Чтобы кто-то где-то перестал бояться себя и понял, что он никогда не один.

В любой борьбе нужно уметь остановиться и даже проиграть

«Ты борешься с ветряными мельницами, Финик. В твоём возрасте это понятно. Странно было бы, проявляй ты равнодушие. Но в любой борьбе нужно уметь остановиться и даже проиграть».

Школьный двор, невесомое текучее небо, мы с Асадом сидим на скамейке, у него в руке листовки из красной бумаги с лозунгами против действий школьного руководства.

Нам запретили издавать газету о проблемах во взаимопонимании учеников и учителей. В ответ мы организовали акцию протеста, в первый же час которой меня и друзей отвели к директору. Вызвали родителей, пригрозили отчислением. Мы не испугались.

Я рос в семье, где, несмотря на восточную ментальность, было принято говорить о чувствах. Те, кто так не поступал, виделись мне трусливыми. Под напором юношеского максимализма я не принимал молчание как мудрость, смиренность, бережное отношение. Трус – и все! Я начал презирать ту часть своего класса, что не поддержала протест.

Тогда же в одной из книг вычитал фразу, укрепившую мое мнение, что недосказанность трагична. «Единственное, о чем надо говорить, – наши чувства. Все эти умничанья – вздор. Что в чувствах, то и на словах».

В тот день мы с дедушкой договорились, что я оставляю идею с листовками, плотнее займусь учебой. «Финик, чтобы в будущем помогать тем, кто столкнулся с несправедливостями, ты должен быть хорошо образован». На какое-то время я утих. Спустя полгода снова затеял бунт.

Я бесстрашно делал свое, как мне казалось, важное дело, не думая о последствиях.

Ближе к окончанию школы острота честолубия сгладилась, я принял, что есть и будут те, кто существует вне моей картины мира. Я мог считать их трусливыми, эгоистичными, злыми, но это не значило, что они должны измениться. Скорее, мне нужно было изменить свое отношение. Мне помогала мысль, что люди вокруг – это и есть я, только в других воплощениях. Стоило подумать об этом, и сразу легчало.

Просто живи, улыбайся и люби. Это совсем не трудно

Выхожу из дома и попадаю в мир, где почти все разговоры о кризисе, деньгах, ценах на нефть, конфликтах с соседними государствами, непризнанных геноцидах – о чем угодно, только не о любви. Материальный достаток – немаловажный фактор, и кризис действительно происходит, но источники хаоса не во внешнем мире, а внутри нас, и об этом мало кто задумывается.

Поэтому многие не проходят и не пройдут экзамен. Потому что чем сложнее ситуация, тем обычно злее становимся мы – на себя, людей, на все вокруг. Бросаем вызов миру, а на самом деле воюем с собой. И проигрываем.

В войне нет победителей. Только кажется, что есть, – это всего лишь иллюзия ума, сердце тут ни при чем.

Ненавидеть легче, чем любить; спорить проще, чем обнимать; разрушать незатейливее, чем возрождать. Такова природа человека – ненастоящая, наносная, он к ней привязан который век и никак не отцепится, хотя Вселенная не раз стучалась в двери, давая шансы измениться.

В фильме «Собачье сердце» есть песня на стихи Юлия Кима: «За ними другие приходят – они будут тоже трудны». Не ждите времени, когда кризис пройдет, нефть подорожает, геноциды признают. Прямо сейчас улыбнитесь, обнимите того, кто рядом, и мысленно – тех, кто на расстоянии, замесите тесто для пирога, закиньте в почтовый ящик письмо с теплом, простите того, на кого обида, закройте на минуту глаза и, открыв их, начните жизнь заново. Не относитесь к ней слишком серьезно, не ищите смысла, выгоды, мести.

Просто живите, улыбайтесь и любите. Это нетрудно.

Не навреди красоте, продли время её жизни

Морозно-ветреное утро зимнего месяца, какого именно, не помню. Помню все остальное, до мельчайших деталей. Ничего особенного в то утро не произошло. Я вышел в сад впервые после болезни, обвязанный по самые глаза шерстяным шарфом, осунувшийся и пропахший эвкалиптовым маслом.

Большой эвкалипт рос на заднем дворе. По осени Сона собирала его листву, плотно укладывала в стеклянную банку, заливала растительным маслом и настаивала двадцать дней. Отжимала листья руками, процеживала – получался целебный эликсир.

Это было утро долгожданной свободы, о которой мечтал все дни вынужденного домашнего заточения. Мама и в тот день меня бы не выпустила, но поняла: если не выйду хотя бы в сад, сбегу к морю. Со мной можно договориться, удержать – нет.

Ботинки скользят на лестнице, под ними хрустит ледяная корка, от морозного воздуха чуть кружится голова. Подбегает Пялянг, жметя к моей ноге, вместе со мной делает осторожные шаги, словно страхует.

В кармане куртки пирожок с мясом, только из духовки, пес их любит. На пятом шаге под дуновением ветерка Пялянг унюхивает знакомый аромат, тычет носом в курточную полу. «Подожди, обжора, дай до скамейки дойти!»

Заснеженный сад черно-белый. Светлого больше – слепит глаза, проникает внутрь холодным вдохом, будто расширяет пространство для нового. Например, для любви.

Над скамейкой Асад приделал навес, поэтому она сухая, слегка заледеневшая. Надевая шерстяную варежку, расчищаю два места – себе и Пялянгу. Сидим, наслаждаемся тишиной. Мохнатые хлопья в беспорядочном метании покрывают белизной бугорки коричневой земли, скрывая наши с Пялянгом следы.

Передо мной оливковое дерево – замерзшее, но вечнозеленое. На фоне зимней монохромности оно выделяется жизнелюбием, напоминая страдающую бессонницей красивую женщину. Пока растительность сада глубоко спала, олива не смыкала глаз, ждала тепла, когда перестанет

дрожать.

Зимой в щели каменного забора забивались снежинки и, прячась от солнца, жили там неделями. Смотрел на них в их сером укрытии, стараясь дышать в сторону, только бы не навредить хрупкой недолгой красоте.

В тот день подходить к забору не хотелось. Остаток положенного мне времени мы с псом просидели на скамейке в вихре снежного вальса. В эти мгновения я смотрел на все будто со стороны, в деталях запоминая происходящее. Мысленно рисовал картину, рифмующуюся со словом «покой». Позже, когда покоя не доставало, черпал его в этом воспоминании.

Тебя ждёт много всего, о чём пока не можешь знать

«Проснувшись утром, заправила постель, оделась и поехала на другой конец города, где стояли недостроенные многоэтажки. Взобралась на самую верхотуру, стала на край, чтобы прыгнуть. Хотела покончить с болью. Закрыла глаза, двинулась вперед... В последний миг отступила. Прислонилась к стене, увидела себя со стороны – изможденную, бледную, некрасивую. На серый бетон сыпались снежинки. Пушистые, сверкающие белизной, наполненные жизнью, пусть и недолгой. Что мне дали те минуты? Затмение. Все через него проходят, каждый по-своему. После затмения стала относиться к жизни как к чуду. Переродилась».

Крошечная кухня, печной жар, за окном голые деревья, на подоконнике горшки с цветущими ирисами. На столе раскрытая книга, перевернутая страницами вниз. Серая матерчатая обложка, синяя надпись «Волны» Форул Фаррохзад^[15]. Роза наполняет водой чугунный чайник, ставит на огонь.

Беру книгу. Пожелтевшая бумага, тридцать шестая страница, подчеркнутые карандашом строки. «Ты – морская волна, ты – стремительный шквал, / Непокорный, мятежный прибой. / Ветер смелых надежд, разбиваясь у скал, / Увлекает тебя за собой»^[16].

Тетушка Роза с юности увлекается иранской поэзией, и никто из нашей семьи об этом не знал. Скрывала свое сентиментальное мироощущение. Мы ее видели энергичной женщиной-бунтарем, любящей травить анекдоты и петь песни горных народов.

Единственный сын Давуд спустя день после своего пятинадцатилетия навсегда ушел в море – засосала воронка, спасти не удалось. Роза погрузилась в себя. Она по-прежнему ходила на работу, баловала родственников вкусностями, гуляла с нами по набережной, но без шуток, смеха и песен.

Я сблизился с Розой в институтские годы; повзрослев, увидел ее другой. Глубокой, задумчивой и смиренной. Голубые глаза с густыми ресницами, длинные седые волосы, собранные в косу. Она не снимала золотого кольца с гранатом, покрывала голову белыми келагаи, а на вопрос

«Как ты?» одинаково отвечала: «Завтра будет еще лучше». Она немало прожила в Стамбуле, но с рождением сына вернулась на Абшерон.

«Как-то в газете мне попался текст американской декларации 1776 года, эпизод из него я запомнила. „Все люди сотворены равными, Творец им дал некоторые неотъемлемые права, в числе которых жизнь, свобода и право на счастье“. Когда море забрало Давуда, я хотела уйти за ним. Не смогла... Началась другая жизнь с иным пониманием счастья. В нем больше „сейчас“.

Мы растрчиваем себя и время на прошедшее и еще не случившееся – всегда там, а не тут. Фантазируем о будущем, горюем о прошлом, упуская настоящий момент. Финик, никто не отвечает за твоё счастье, кроме тебя».

* * *

Кукурузная мука золотом горит в Розиных руках. Она ее перебирает, добавляет стакан пшеничной, соль и четверть стакана оливкового масла. Заливает ингредиенты чуть теплой водой, замешивает тесто. Формирует шарики, выкладывает на доску – пусть подходят. Пока попьем чаю. С инжирным вареньем.

Спрашиваю у Розы: «Ты пережила столько всего... Обида на жизнь – у тебя такое бывало?» Из банки вытряхивает в пиалу густое варенье. В окно светит сонное февральское солнце. «Случалось, не понимала жизни, но обиды не было. По-моему, это чувство несовместимо с жизнью. Зачем жить, если живешь обидой?»

Роза рассказывает о глазах человека, сердце которого разбивается, – они становятся необычайно красивыми.

«Знаешь, почему я тогда не прыгнула в пропасть? Мне словно кто-то пообещал, что впереди меня ждут рассветы, которых еще не встречала, и закаты, которые не захочется забывать. Ждут люди, которых еще не полюбила, и мечты, о которых не помышляла. Ждет много всего, о чем пока не могу знать. Позволила себе поверить этому голосу, Финик. Так и оказалось.

На языке пали „счастье“ – это духкха, „болезненность“. Это не значит, что жизнь построена на страданиях. Это о том, что в каждом конце, пусть и болезненном, живет начало нового, счастливого».

Раскатывает шарики в лепешки, щедро обсыпая их мукой, обжаривает на раскаленной сковороде по минуте с каждой стороны.

«Пока возжусь с тестом, принеси из погреба овечьего сыра и приготовь

соус из сюзьмы, как я тебя учила. Не забыл, Финик?»

Ах, сюзьма! Вспоминаю, как ее готовила Сона, когда утром нам приносили свежий деревенский йогурт. Совсем не кислый, сладковатый. Одну банку съедали в тот же час, другую пускали на сюзьму.

Бабушка, добавив в йогурт соль, вываливала его на ситцевую ткань и, связав последнюю узлами, подвешивала над раковиной. Ночи достаточно. Мешочек должен быть плотным, чтобы жидкость отцеживалась медленно.

Обычно в нашем доме сюзьму подавали на завтрак, но ею заправляли и супы, холодные и горячие.

Слегка взбиваю сюзьму вилкой, добавляю мелко нарезанный укроп, тертые и отжатые огурцы. Зубчик чеснока, немного нерафинированного оливкового масла – соус к кукурузным лепешкам готов.

Тетушка наблюдает за процессом. Мизинцем берет пробу, кивает – довольна!

Таких лепешек, как у Розы, не ел нигде. Одновременно мягкие и хрустящие, румяные, но не подгоревшие. Словами не объяснишь – магия рук.

* * *

Тетя лечится тишиной. Роза находит в ней то, что редко встречается в земной суете, – понимание, бескорыстие, исцеление. Как только ощущает в себе неполадку, погружается в тишину. Сама того не ведая, Роза помогла мне осознать красоту уединения, рассказывая о пройденном, увиденном, услышанном.

«В центре Стамбула есть длинная пешеходная улица Истикляль. Она с рождения лишена тишины, которую забрали люди в обмен на пустые слова. Меня приносило туда ветрами летних бессонниц, я садилась у гитар уличных музыкантов и наблюдала за кипящим потоком улицы, пахнущей жареными каштанами и разлитым на горячие камни кофе. У каждого свое время в глобальной бесконечности. И это время – самое ценное, прекрасное и настоящее. Оно и есть наш дом. Ищи его не в переулках городов, а в тишине внутри себя».

Любовь стучится во все двери, но есть те, кто не открывает

Возвращаюсь со двора, вбегаю в гостиную. Тепло, пахнет горячим хлебом, обсыпанным черным тмином. Бабушка накрывает на стол, в комнате шумит телевизор. На экране кино. Черно-белая картинка. Мужчина во фраке становится на колени перед дамой в пышном платье, в чем-то ей признается, страстно обнимает за талию. Мне пять лет. Не очень понимаю происходящее, но с ходу определяю: любовь. Подходит Сона, шлепает меня по попе. «А ну-ка марш умываться и за стол!»

Иду выполнять бабушкины указания, однако все мысли о любви. О том, что слышал в историях взрослых, о чем читал в первых книжках и вроде бы испытывал к Парване, соседской девчонке. «Это не то, – откровенничает внутренний голос, – ты пока не познал любви в полной мере. Смотришь на красоту моря сквозь толстое стекло – не можешь приблизиться, вдохнуть бриз, уколоть стопы ракушками».

Сона наливает мне аришту^[17], пододвигает корзинку с хлебом, тарелку с зеленью, редиской и белым сыром. «Нуш олсун, бала!»^[18] Ждет, пока доем суп, чтобы принести второе. Не сводит глаз с экрана. Там уже не про любовь – лошади, дым, сражение. Прихлебывая аришту, спрашиваю: «Бабуль, вот говорят – любовь так, любовь сяк... Не могу понять: а я любил? По-настоящему, ну, как в телевизоре».

Сона встает со стула, выключает телевизор, накрывает его ажурной салфеткой. «Любовь стучится во все двери, Финик. Есть те, кто не отпирает. Одни не верят, вторым некогда, третьи боятся. Жаль этих людей. Они умрут, думая, что прожили жизнь. На самом деле они мертвы».

Уходит на кухню за котлетами и картофельным пюре. В пюре Сона обязательно добавляет пару щепоток куркумы. Первым делом съедаю котлету, освобождая на тарелке место, и разравниваю пюре, вилкой придаю ему округлую форму. Получается солнце, которого пока что не видно за зимним свинцовым небом.

Жизнь порою – как очень узкий мост, важно не бояться

В перерывах между институтскими занятиями я бегал к Розе, учился готовить абшеронскую кятю. С юности мечтал о своей кондитерской.

«Запоминай, пока я жива. Мужчины лучше хранят рецепты, нежели женщины. Да, не удивляйся! Они ответственнее относятся к тому, чему научились. В тесто сумбурных эмоций не примешивают». Тетушка больше уважала мужчин – с ними ей было проще договориться.

«Я была абсолютно папина дочь. Детей в семье было трое – я с сестрой Гюльнар, ровесницей, и наш старший брат, твой отец. Помню, не отлипала от папы: сидела, ела, засыпала у него на руках. Детские фантазии рисовали, как я вырасту и выйду за него замуж. Ни мамы, ни сестры, ни иной другой женщины на этой картинке не было. Гюльнар обижалась, она тоже хотела за папу, но я его отстояла. Так и порешили: с папой „поженюсь“ я, с братом – Гюльнар».

Роза замешивает тесто из муки, масла, яиц, сахарного песка и опары. Сосредоточенные и парящие движения рук. Сдувая с лица выпавшую из-под косынки прядь, напевает себе под нос: «Вся жизнь – как очень узкий мост, важно не бояться...» Тесто получается гладким, блестящим. Накрывает полотенцем на пару часов, чтобы подошло. «Финик, не забудь про две обминки».

Переходим к начинке кяты. Охлажденное масло Роза взбивает с сахаром и ванилью, всыпает муку. Руками перетирает массу в крошку. «Если делать второпях, будет каша. Никогда никуда не спеши, сынок».

Из подошедшего теста Роза формирует шесть шариков, раскатывает их в кружочки, смазывает растопленным маслом, кладет в центр каждого горку начинки. Собирает тесто с краев и, придавив ладонью, превращает в лепешку. Смазывает верх смесью из яичного желтка, растительного масла, настойки шафрана. Масло добавляется для блеска, шафран с яйцом – для золотистого цвета. Кятю выпекаем в предварительно разогретой духовке двадцать минут.

Прибрав на кухне, завариваем липовый чай с апельсиновой кожурой и снова беседуем о любви. Именно это чувство, маяк в человеческой жизни, зовет своим светом странника, указывая дорогу домой.

«Финик, за свои немало лет я не раз убеждалась в том, что не бывает всепоглощающего поражения стрелой Амура, внезапного и резкого. Есть выбор любить. Например, другого человека. Не за что-то, а потому что он близкий, родной.

У меня случалось много такого, что я называла любовью. Чаще это было страстью или проделками эго – больше хотелось быть услышанной, нежели слышать самой. У Руми есть прекрасные слова: „Не взирай на мир глазами вожеления; ведь и спина змеи украшена узорами, но яд ее смертелен“.»

Только в сердце хранятся карты нужных тебе путей

Температура снизилась до нормальной, но в теле слабость и кашель душит. На улицу не выпускают, и я извелся от тоски по миру. Пододвигаю табуретку к окну, взбираюсь посмотреть на февральский сад. Окно запотело, ничего не видно. Рукавом свитера протираю стекло. Сейчас-сейчас, пара мгновений, и я рассмотрю родную картинку.

Увижу оливковое дерево, чей ствол по зиме дедушка перевязывает красным шарфом, – так оно, согласно поверью, лучше переносит морозы; забор из неотесанных, неровно положенных камней, увитый серыми виноградными лозами; чуть поржавевшая за зиму кюлефиренги, к весне дедушка освежит ее желтой краской; ряд прозрачных бутылок с абгорой^[19], звенящих на ветру и дожидającychся часа, когда дядя погрузит их в машину и повезет родственникам на праздник весны.

А еще я увижу виляющий хвост лопухого Пялянга, игнорирующего будку и спящего на дырявом зеленом одеяле из погреба (и как он его выволок?). Сколько бабушка ни пыталась отнять у пса одеяло, бесполезно. Рычит, скалится. «Люди решат, что мы издеваемся над животным, а у Пялянга вон какая будка! Наверное, это одеяло напоминает ему о детстве, когда он жил на улице, брошенный и голодный».

Сона рассказывает историю Гаджи Зейналабдина Тагиева, родившегося в семье бедного башмачника. Благодаря трудолюбию и упорству он стал нефтяным магнатом. До последнего вздоха Гаджи хранил в шкафу первое пальто, которое купил себе на шестнадцатилетие, подрабатывая каменщиком. Пальто висело на видном месте как напоминание, каким трудом досталось, чтобы не забывать об изменчивости судьбы.

Дважды протираю стекло, но не вижу ничего из того, что ожидал. Лишь мутные очертания в зернистой пелене – на Абшерон опустился туман. Густой, плотный, как молоко. В феврале, особенно на рассвете, он дотягивался до крыш, и они словно плавали на его поверхности. Море становилось невидимым. Туман причудливо клубился между оставленными на берегу одинокими рыбацкими лодками.

В такую погоду воздух пропитан солеными запахами опасности, неизбежности и прозрений. Я боялся тумана, поэтому настойчиво тер окно, надеясь, что это запотело стекло.

В детстве туман пугал своим внешним проявлением, по мере взросления пелена окутывала и то, что внутри. Ощущения почти те же – сбившиеся ориентиры. Не видишь и, самое тревожное, не ощущаешь своего выбора – делаешь шаги, не зная, что под ногами.

В туман я замирал. Застегивал пуговицы шерстяного пальто, закрывал глаза, искал спасения в себе. Порою свет внутри был еле виден, но я знал, что он там. Эти лучи рассказывали о добре, детстве, море и о том, что туман обязательно рассеется, потерпи, не сдавайся. Зачем? Ради новых встреч, чувств, обаяний, любимых людей как награды за стойкость.

Умей принимать неопределённость и давай передышку вопросам

Сегодня я видел сон, в нем я, совсем юный и печальный, беседую с Ниязом, исчезнувшим в неизвестности дервишем.

– Нияз, я устал с дороги. Не хочу никуда идти, ничего узнавать, искать.

– Ты несчастлив?

– Сейчас да.

– У этого две причины. Они вовсе не в сложности пути, по которому ты идешь.

– В чем тогда, уста?

– Ты выпал из настоящего. Находишься то в прошлом, то в будущем. Думаешь, сколько прошел или сколько еще пройдешь. Потерял связь с тишиной. Отсюда усталость.

– Как мне вернуться к тишине? Хм... Знаю! Уехать в горы.

– Это будет тишина гор, не твоя. Найди такие же горы внутри себя. Вернись в настоящее.

– Ты прав, уста. Спасибо.

– Финик, умей принимать неопределенность и давай передышку вопросам, тогда дорога к ответам прояснится. Отклики рождаются в тишине. Тот, кто умеет слышать тишину, слышит и правильные ответы.

– Буду этому учиться, уста. Сталкиваясь с неопределенностью, теряюсь, думаю, что не так сделал...

– Порою, если не можем что-то объяснить, это не значит ничего, кроме того, что мы не можем этого объяснить. Не изводи себя, езжай лучше к морю. Человек на берегу всегда богат.

Помоги цветам распуститься в сердце ближнего

Я глубоко убежден, что человек меняется. От низкого к высшему и наоборот. Я встречал людей, которые разрушали, обвиняли, ненавидели и неожиданным образом (для нас неожиданным, на самом деле это долгий процесс джихада) прозревали. Открыли в себе свет. Неважно, благодаря чему произошло пробуждение, главное – оно случилось. Человеку нужно дать шанс на новую жизнь, а не закидывать камнями за ошибки прошлого.

Все мы испытываем низкие чувства, во всех нас, кроме света, есть тьма. Важно преодолевать в себе то, что делает хуже, темнее. Не подавлением. Различайте голос эгоизма. Как его распознать? Он только и делает, что топает ногами, жаждет мести, ищет выгоды.

Если встречаете проявление низших чувств в ближнем, не отвечайте: отойдите в сторону, продолжайте путь. Наступит день, когда этот человек протянет вам руку, – не отталкивайте. Помогите цветам распуститься в сердце ближнего и... возвращайтесь в свой сад.

Что бы люди о тебе ни говорили, они говорят о себе

На заброшенном кладбище у берега озера Шор редко встретишь людей. Ветхие могилы, по большей части песчаник с арабской вязью, изредка – роскошный мрамор с фотографиями покойных. У входа на кладбище живет Аяз-киши, старец-смотритель. Домик с кирпичной трубой и желтым соловьем, поющим на створке открытого окна. Предан хозяину, не улетает.

Спрашиваю у Аяза-киши, почему кладбище безлюдно. «Неужели у тех, кто здесь похоронен, нет родных?» Старец подносит руку к окну, соловей слетает на запястье. «Единственное, что бессмертно, – любовь».

Не получив вразумительного ответа, убегаю к отцу. Он медленным шагом идет по тропинке, заложив руки за спину. Дальнейший маршрут знаю наизусть: свернет направо после мраморной могилы с надписью «Каждая душа вкусит смерть, затем вы воскреснете и вернетесь к Нам»^[20], спустится по склону, откуда открывается чарующий вид на Шор. Там, под сенью раскидистого чинара, похоронен брат отца Орхан.

Человек-противоречие. Огромная душа – добрая, полная детства. Сегодня он тут, рядом, завтра уже в пути, хотя предупреждали, что дороги завалило снегом, ехать опасно. Дядя Орхан мог открыть душу первому встречному и одновременно остерегался людей, находя истинное в скрытом.

Его легко было ранить словом, нечаянной интонацией, но он умел прощать. «У нас нет ничего своего. И прощение не наше. Кто я такой, чтобы им распоряжаться?» Большинство не понимало его поступков. Не оглядывался, продолжал путь. «Что бы люди ни говорили обо мне, они говорят о себе».

Часть его природы – неизмеримая вера в прекрасное и такая же бесконечная грусть, необходимая для нового вдоха. С таким человеком, как дядя Орхан, можно встретиться раз в жизни и объяснить это «судьбой», в которую он не верил, – только в выбор и его последствия.

Папа жалел его. «У Орхана не было родины. Появился на свет в Иране, в четыре года родители перебрались в Стамбул, в шесть на Абшерон. Когда

появился я, мать с отцом развелись, и отец забрал Орхана в Россию. Судьба скитальца. Я родился и вырос на Абшероне и знаю, что тут моя родина, живу со своим народом, хорошим или плохим, не важно, чувствую с ним единство. А брат так нигде и не обрел покоя... Может, покой на земле невозможен?»

Дядя умер на пятьдесят втором году жизни, во сне, остановилось сердце. За три дня до смерти приехал на Абшерон. Навестил дочь, родных. Впервые на вопрос «Куда дальше, Орхан?» отмалчивался, пожимал плечами. Словно собирался туда, где слова лишены смысла и ими ничего не опишешь. Другой мир с целым морем покоя.

* * *

Идем с отцом к выходу. Глади Шора касаются первые звуки азана. Из озерных камышей резко взлетают птицы, кричат, рассыпаются в стороны. Скоро будем дома. Мама откроет дверь и глазами укажет на ванную – на Востоке после кладбища нужно ополоснуть руки и лицо водой. Потом будет чай с умадж-халвой^[21].

Однажды я спросил у дяди Орхана: «Какое самое лучшее ощущение в жизни?» Он ответил: «Идти домой, где ждут».

Собачья преданность границ не имеет

Ее звали Далха, и летом она исчезала из поля зрения. Псина с густой коричневой шевелюрой, несуразно широкими стопами, большими висящими сосками и глазами, полными материнского понимания. Ее кличка переводилась как «волна». Дворняга, настолько преданная западному побережью Каспия, что не покидала его даже в зимние месяцы, когда отдыхающие возвращались в город, а рыбаки, боясь штормовых ветров, реже выходили на промысел.

Она была с морем тогда, когда оно погружалось в себя, отстранялось от суши.

С наступлением июня Далха уходила с абшеронского берега. Появлялась к сентябрю, когда с инжирных деревьев падали не сорванные плоды^[22], которые хоронил гилавар, покрывая принесенным с берега песком.

Детвора нашего поселка выдвигала разные версии того, почему Далха не любит лето. Одни говорили, что она опасалась людей, с наступлением тепла заполняющих берег. Не приведи Господь, кто-то не так поймет ее движения, раскричится, вызовет собачий ящик, и Далха больше не увидит моря.

Она боялась смерти, потому что никто не обещал, что там, в темной-претемной неизвестности, будет море. «Вот люди, когда говорят про смерть, ложатся под землю, но оказываются на небе – черт-те что! И какое же море на небе?! Нет его там, хвостом чую!»

Некоторые ребята предполагали, что с первым лучом июньского солнца Далха превращалась в русалку и уплывала на Наргин, жила у Таинственного маяка, построенного в одиннадцатый день декабря тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года на западном плесе острова.

Дедушки рассказывали, как немцы во время войны взорвали Таинственный маяк и как спустя годы абшеронцы его отстраивали. Нас безудержно интересовал и манил Наргин, но мы боялись не то что спрашивать о нем, а даже смотреть в его сторону.

В годы Первой мировой остров был пересыльным лагерем для военнопленных. Большинство так его и не покинуло, умерев от голода, обезвоживания и змеиных укусов. Тихими ночами с Наргина доносились

стоны беспокойных духов погибших солдат...

Версий летнего исчезновения Далхи существовало множество, истинной никто не узнал. Зато абшеронцы восхищались любовью псины к морю – собака не уходила с берега, когда бушевала вода, ветер бросался лезвиями песков, переворачивал рыбацкие лодки, разламывал пустующие спасательские вышки. И люди, и дворняги прятались в теплых укрытиях, только Далха лежала на берегу, изо всех сил втопив лапы в тяжелую мокрую землю. Не представляла жизни без моря.

Наутро после шторма собака еле открывала забитые песком глаза, ее уши заливал гной, легкие хрипели. Тетя Роза бежала к четырехногой мученице, брала ее ослабшее тело на руки, уносила домой. Стелила ей в теплом курятнике, промывала глаза ромашковым настоем, вычищала из ушей песок, отпаивала мясным бульоном. Псина в бессилии облизывала тетушкины руки, еле слышно поскуливала. Не от боли. От тоски по морю.

На рассвете третьего дня она сбегала. Скармливая сваренную для Далхи кашу другим бездомным псам, Роза повторяла вычитанные слова: «Собачья преданность границ не имеет». Год за годом, ураган за ураганом тетушка вылечивала Далху, которая так и не прижилась ни в одном доме

После очередного шторма Роза снова пришла за Далхой. Собаки не было. В ту ночь море затопило берег и, видимо, забрало к себе любящее собачье сердце.

Далха не умерла. Она воссоединилась с Каспием. Навсегда.

Попрощайся с тем, что делает тебя хуже

«У нас тепло, никаких ветров, ласковое море и звуки природы. Езжу вдоль реки к кукурузным полям, гуляю босиком по земле – ноги красные. Сплю в гамаке между пальмами, в лицо сыпятся звезды. Рай, Финик. Не верь тем, кто говорит, что от потока туристов тут бардак. Глупости. Рай невозможно испортить».

Дядя Аким присылает из Индии письма с черно-белыми фотографиями. В шестьдесят четыре выучил хинди, женил сыновей, оставил им дом и уехал с Абшерона с одним чемоданом. С женой Сугрой развелся еще на пороге серебряной свадьбы. Были честны друг с другом, не тянули то, что себя изжило.

Спустя два года Сугра вышла замуж, а дядя Аким устроился на вторую работу – заработать на свадьбы детей и переезд в Индию.

С юных лет он занимался ковроткачеством. Никто не мог предположить, что когда-нибудь уста расстанется с любимым делом.

«Обычно на старости лет мужики заводят юную красотку и уезжают на байке навстречу новой жизни. Меня такой план не устраивал. Я решил уехать один и не на мотоцикле, туда, где проснусь. Где пойму, кто я, что мне нужно, куда дальше. В семьдесят лет моя жизнь прервалась и началась заново».

С детства дядя Аким жил на Абшероне, не выезжал за его пределы. Он и в самолет-то впервые сел по дороге в Индию. «Не жалею, Финик. Считаю свою жизнь интересной, хотя прошла она в четырех стенах мастерской. Работая над ковром, я не только рассказывал истории через рисунок, но и проживал саму жизнь».

Вспышка-воспоминание из весеннего дня детства. Вбегаю в мастерскую дяди Акима, спешу поделиться очередным открытием. Осмотревшись, затихаю. Я попал в те самые два часа, когда дядя отрывается от земли и переносится туда, где все красочное, умиротворенное, теплое. Так объясняла мне состояние мужа тетушка Сугра, стригущая овец в апрельском дворе.

«Если увидишь, что Аким плетет мир, не мешай, а то нам влетит». Спрашиваю Сугру, почему всего два часа. Неужто нельзя дольше? Отталкивает облысевшего ягненка, вытирает косынкой с лица пот. «Над

шелковым ковром уста работает не более двух часов в день. Если засидится, через пару месяцев от нагрузки ослепнет».

Дядя, обтекаемый лучами утреннего солнца, сидит на коленях перед станком с натянутой основой – белоснежными нитями. С вершины станка свисают мотки окрашенной пряжи, солнечные лучи отражают, подхватывают ее оттенки, радугой расцвечивая побеленные стены. Аким ловко подхватывает нити основы, обвивает их цветными, срезает концы ножницами. Из узелков рождается узор.

Как он его придумывает? На цыпочках подхожу ближе, сажусь рядом. Со двора слышно блеяние овец вперемешку с бранью Сугры. «Ее голос как чернослив», – вскользь сравниваю и жду, когда смогу обнять дядю Акима. Он улыбнется и начнет расшифровывать для меня ковровые узоры.

«Видишь змею? Не бойся ее. Аллах заложил зло только в человека, в животных его нет... Змея – символ долгой здоровой жизни».

* * *

В Индии дядя Аким живет в комнате, где окон больше, чем стен, по утрам работает на мельнице, остальное время служит в ашраме. Ковроткачество осталось в прошлом. Не скушает, вспоминает с улыбкой: «Сейчас другой этап».

От себя не убежишь – это правда, и куда бы ни уезжали, все равно забираем себя. Правда и то, что поездка подальше от шума и суеты может возродить надежду.

«Оказываешься в другой среде, в тиши и безмятежности которой осваиваешь пережитое, понимаешь новое о себе и мире. Медленный и нелегкий процесс, Финик... Не верю в мгновенное преображение. За каждым изменением – внутренняя работа и желание стать счастливее. Помнишь слова мистера Джонаса в „Вине из одуванчиков“? „Вы можете получить все, что вам нужно, если только это вам и вправду нужно“.»

Дядя Аким пишет, что жизнь – это вариация твоей собственной вселенной, и хорошо бы в ней избавиться от вредных привычек. Объедаться сладким, курить, злоупотреблять алкоголем – очевидное. Но есть привычки, которые намного опаснее увлечения пирожными. К примеру, сравнивать себя с другими, стараться быть как все, не любить свое тело, считать себя недостойным любви.

«От подобных мыслей вряд ли избавишься навсегда, временами они приходят к каждому. Страшно, если вредные мысли становятся жизнью.

Попрощайся с тем, что делает тебя хуже, злее, отчаяннее».

Письма дяди Акима храню до сих пор. В них то бесценное, к чему каждый человек имеет доступ, но чем почему-то не пользуется.

«Живи осознанно, Финик. Это не значит все бросить, уехать в Индию и, сидя в позе лотоса, улыбаться шелесту травы. Жить осознанно – это помнить о том, куда идешь, не упуская из виду настоящее. Каждое действие выполняй не автоматически, а осмысленно. Выражай чувства так, чтобы не вредить ни себе, ни другому. Предопределенности не существует – мы сами себе и ад, и рай, и тюрьма, и свобода.

Помнишь ли ты, когда в последний раз от души наслаждался вкусной едой, хрустом морских ракушек под ногами или радовался мелочам? Если да, то ты живешь по-настоящему».

Здравствуй, мой друг!

У нас тут ливни серыми очередями бомбардируют землю. Деревья не бунтуют, смиренно склоняют кроны. Крыши съезжают с хибар к радости бездомных животных, которые ночами прячутся под обломками и ждут, когда с концом бури землю покроют сотни птичьих тел.

Не выходим на улицу без острой надобности, только в храм и обратно.

Сегодня после утренней молитвы беседовал с Джорджем, он помогает нам в ашраме. Рыжий полиглот, владеет четырьмя языками. Говорили о людях, которые перестали различать свет маяка. Когда все в глубоком тумане, даже протянутых тебе рук не видно.

Джордж считает, что человеку, потерявшему смысл жизни, нужно научиться жить для других. Мол, такое состояние – настоящее благословение Всевышнего: человек служит другим, перестав жить для себя. Я его выслушал и... не согласился.

Финик, мне тревожно за тех, кто живет для других. Выглядит это благородно. Познакомившись поближе с такими людьми, замечал, насколько они несчастливы, как пересиливают себя. Несправедливо. Каждый из нас непременно должен быть счастливым первым долгом для себя, потом для других – чтобы было чем делиться.

Страшно, когда лжеучителя пользуются состоянием

отчаявшихся, призывая их отказаться от себя во имя служения Высшему. Затуманивают людям голову, называя внутреннее непонимание признаком потери души. Душа не теряется, она всегда в нас, в ней горит свет. Но нужно научиться переживать отливы.

Богу не нужны жертвы и поклонения. Бог хочет, чтобы мы друг друга любили, ведь каждый из нас его частичка. Значит, когда любим ближнего, любим Бога.

Однако я верю, что людям, переживающим депрессию, может помочь социальная работа, например волонтерство в детском доме или в приюте для бездомных животных. Так они чувствуют свою нужность, входят в контакт с миром, не остаются наедине с грустными мыслями. Но и в этом деле важен баланс.

Тот, кто называет себя абсолютно духовным и отказывается от земной жизни с отговоркой «служу Высшему», на самом деле потерял баланс. Финик, проживай сполна и земную жизнь тоже, будь добр, чуток к миру, и он ответит тем же.

Прости, если манера моего письма назидательна. Я делюсь мыслями, в которых есть и убежденность, и сомнения. Пиши мне. Интересно тебя услышать.

Аким

Здравствуй, мой друг!

Если Стамбул – это город-утешение, то Индия – пробуждение. Тут проходит ощущение удушливой духоты, с которым жил много лет. В Индии учишься делать что-то маленькое с большой любовью, перестаешь искать виноватых, вопросы задаешь не голове, а душе.

Приезжай, Финик. Хотя у каждого своя Индия, свое пробуждение и освобождение...

Если ты не против, в этом письме расскажу об освобождении. От себя ненастоящего.

В побеге за мнимыми победами мы обрастаем слоями, превращаемся во что угодно, кроме себя. С годами от наслоений тяжело ходить, дышать и... слышать. Хочется вырваться из мыслей, тревог, окружающего. Кто-то погибает под

тяжестью не своей жизни, другие выбирают, начинают заново.

Ты спросишь, как освободиться? Для начала понять, что этого хочешь. Принять, что на пути к освобождению лишишься привычного, можешь испугаться, захочешь вернуться обратно, под привычный груз. Не надо бояться – без боли нет исцеления.

Чем ближе к освобождению, тем больше возвращаемся к себе настоящим. Оказывается, не нужно было бежать, подстраиваться, добиваться. Достаточно принять себя истинного, пусть неидеального, переменчивого, импульсивного, но умеющего любить.

Любовь – суть всего, она в нас, а мы носимся, ищем черт знает что и ничего не находим.

Освобождение – это как добраться до дома после долгого, утомительного, холодного путешествия.

Так и живем на грани света и тьмы. Без них ничего бы не было, Финик. Все мы, в этой жизни или в следующей, придем к свету. На самом деле люди двигаются к одной финишной – кто-то целенаправленно, кто-то мухлюет, сбегая в темные дебри, а кто-то вообще отказывается идти.

На латыни есть верные слова: «Cras amet qui nunquam amavit quique amavit cras amet»^[23]. Это действительно так.

Аким

Здравствуй, мой друг!

Ночами прихожу к морю, развожусь костер у самой воды, играю на флейте. (Слышат ли меня рыбы?) Я научился на ней играть, Финик! Так разделяю с миром то, что чувствую, и не нужно слов.

Из теплых вещей у меня старенький зеленый шерстяной кардиган, он согревает при морском ветре. Надевая его, вспоминаю Абшерон – может, потому, что воспоминания больше греют, нежели огорчают?

Улыбаюсь. Мне хорошо. Ушедшее время не тяготит. Ничего не вычеркивал, ни от кого не убегал – принял прошлое как неотъемлемую часть себя.

Костер затухает. Подбрасываю головешки над морем, они

падающими звездами летят в воду. Сначала шипят, струями отдают белый пар, потом сливаются с темнотой. Финик, никогда не думай, что застрахован от нехороших поступков – они поджидают за углом: стоит загордиться, и они тут как тут.

Моя бабушка говорила, что, если человек сказал «я никогда этого не сделаю», шайтан бросает все свои дела и не успокаивается до тех пор, пока не заставит человека нарушить свое обещание.

Будь внимательным с тем, что впускаешь в себя, что отдаешь в мир.

Именно бабушка научила меня преодолевать трудности – отца у нас не было, матери некогда.

Помню, в детстве я пытался казаться отважным и крепким, всеми силами боролся со страхами. В голове звучал мамин голос: «Мы с тобой одни друг у друга. Надо быть сильным и много работать, а не мечтать». Мне тогда казалось, что жизнь требует от человека быть только сильным и занятым, а мечты – лишь мысли перед сном, о которых не принято говорить вслух, иначе жизнь почувствует слабину, надает оплеух.

О своем страхе никому не рассказывал. В детстве я боялся теней. Собственной тени на белой стене, силуэтов прохожих за сумрачным окном, бликов на потолке ночной комнаты. При виде тени зажмуривался, сжимал кулаки – только бы не закричать, как трусливая девчонка!

Однажды ночью я описался, когда, выйдя в туалет, увидел скользящую по стене тень. Испугался, что она меня схватит, унесет в крошечную темноту. Вернулся в комнату, переоделся, запачканное белье спрятал под кроватью, а наутро не выдержал и открыл свой страх бабушке. Она умела излечить одним словом.

«Малыш, запомни: если видишь тень, значит, где-то рядом горит свет. Отвернись от тени, разыщи свет – в нем сила. За целых шесть тысяч лет его не смогло и не сможет погасить ничто темное. Свет тебя защищает, доверься ему».

Аким

Здравствуй, мой друг!

Хочу познакомить тебя с Диной, она вторую неделю в ашраме, приехала из Болгарии. Вчера ей исполнилось шестьдесят шесть. Многие ошибочно думают, что в местах духовного просвещения дней рождения не празднуют, мол, физическое тело бренно, а душа вечна, и у нее нет дат.

Мы нажарили кукурузных лепешек с медом, наварили имбирно-мангового компота и после утренней молитвы спустились к морю. Я подарил Дине молитвенный абшеронский коврик.

Через неделю она возвращается в Болгарию, к мужу и малышу Александру. Нам будет не хватать этого человека-искры, способного вдохновить на поступки самую заскучавшую душу.

История Дины и Александра удивительна. Саша – сын покойной Дининой дочери Марты. На шестом месяце беременности она попала в тяжелую аварию, мозг умер. Пятьдесят три дня врачи поддерживали ее организм – столько было нужно, чтобы малыш мог появиться на свет. Марта ушла, но оставила новую жизнь.

Дина показывает фотографию голубоглазого гнома на черноморском побережье. «Я будто снова родилась и родила».

Счастье приходит разными путями, в том числе через потери и преодоления. Жизнь не бывает одинаковой, она постоянно меняется.

Знаешь, Финик, в детстве я любил смотреть на горизонт с разных точек. Казалось бы, и с чердака дома, и со школьного окна горизонт один. Но нет. Он менялся вместе со мной и моими перемещениями.

На этой земле нам ничего не принадлежит. Тут не за что, не за кого держаться, кроме рассвета. Он наступает, что бы ни случилось. Даже смерть – это много света. Так говорят те, кто с ней встречался и возвращался обратно.

Никого не бойся, кроме себя; ни от кого не убегай, особенно от себя; не отравляй дни горечью прошлого и иллюзиями будущего. Весь мир – рассветы и закаты, страны и города, океаны и моря, расставания и встречи – в тебе.

Пока ты есть у себя, пока в тебе живут утро и ночь, ты самое прекрасное и совершенное, что Он мог сотворить. Ты Его

любимое создание, ты Его часть. Он заботится о тебе, стучится светом в твои окна, когда ты прячешься в темноте.

Финик, не отказывайся от прекрасного дара жизни, что бы с тобой ни произошло. В отчаянные ночи найди сил дождаться утра – оно осветит дорогу к исцелению. Люби сколько можешь и насколько хватает сил. Не подпускай зло к поступкам и мыслям, не разочаровывайся во всех людях из-за проступка одного, не превращай мечты в смысл жизни.

Только ты сам и любовь в тебе – тот самый смысл, который бесполезно искать за порогом дома – и внутреннего, и внешнего.

Аким

Здравствуй, дорогой друг!

Мир непростой, и его времена никогда не бывали легкими. Всегда были войны. Раньше они разворачивались вокруг людей, сейчас переместились внутрь. При всем внешнем прогрессе человечества в его глубинном мире наступил кризис. Одно из подтверждений – на планете стало больше самоубийств.

Согласно индуистскому вероучению, современный человек переживает тяжелую эпоху – Кали-Юга. Век невежества, когда люди находятся в постоянном возбуждении ума и выглядят так, будто их терзают привидения.

Мы должны опуститься на дно, чтобы наконец изменить отношение к жизни.

Что может спасти человека во время внутренней войны? Только любовь. Именно она дает силы светить, когда вокруг темно, не передавать окружающим раздражение, недовольство, агрессию (они заразны!).

Каждый из нас способен озарить кусочек мира. Это мой ежедневный, ежеминутный экзамен, который даже тут, в таком одухотворенном месте, временами проваливаю. Бывает, сдаюсь, больше не хочу ни светить, ни думать о свете. Без падений не бывает взлета...

Финик, не бойся совершать ошибки, спотыкаться, падать. Чаще всего величайшую награду приносит то, что больше всего пугает. Наслаждайся возможностью творить и быть

свободным в выборе – главное, совершай его с любовью.

Руми писал: «Всему, что зрим, прообраз есть, основа есть вне нас, / Она бессмертна, а умрет лишь то, что видит глаз. / Не жалуясь, что свет погас, не плачь, что звук затих, / Исчезли вовсе не они, а отражение их».

Счастье – величина эпизодическая. Намного ощутимее стремление к нему. Путь к счастью бывает вдохновляющим, запутанным или отчаянным – разным. Как и наша повседневность.

Аким

Здравствуй, мой друг!

В ашрам из Европы приезжает немало мужчин и женщин моего возраста, переживающих из-за наступающей старости. Их лица идеального овала, без морщин, но в глазах смятение. Убегают от возраста к пластическим хирургам или к тем, кто поможет принять себя. На самом деле они боятся не старости, а смерти.

В Индии уважают смерть как один из этапов путешествия души. Индусов больше пугает «жизнь во сне», когда человек привязывается к земному.

Если в неизвестности смерти увидеть не мучительную пытку, а начало нового, то ни она, ни старость пугать не будут.

Старость зависит от того, как мы к ней движемся. Вспоминаю своих восточных дедушек и бабушек. Для них старение было этапом духовного расцвета, когда дети подросли, дел поменьше, можно в тишине почитать Коран или посидеть под оливковым деревом, наблюдая восход солнца.

Мы, дети, читали аксакалов за особый вид мудрости и мечтали, чтобы и наша старость наступила быстрее. Тогда не придется вставать рано утром в школу, заправлять постель, учить уроки, бегать за хлебом или уставать на работе, как наши родители.

Старость принесет свободу – полагали мы, коричневым карандашом расписывая лица друг друга «морщинками» и старческими голосами повторяя бабушкины мудрости. «Аким, за стол садись не очень голодным, вставай не очень сытым», –

пародировал я Улькер-нене, набрасывая на голову простыню, имитирующую келагаи.

Это была необыкновенная женщина, Финик. По воскресеньям мы с ней ехали гулять в город, на бульвар. Для меня, мальчика из загородного поселка, это было событием. Мы садились на «чертово колесо», с высоты которого город был виден, как на карте. Моя фантазия превращала нас в чаек – парили над Каспием, и никаких границ...

После прогулки заходили в кафе для мам и детей на первом этаже пятиэтажки на улице Карганова. Улькер-нене заказывала мне блинчики с мясом и какао.

Чем старше становишься, тем сильнее тянет в детство.

Аким

Здравствуй, мой друг!

Благодарю тебя за письма. За атмосферу Абшера, которая чувствуется в каждой строчке. Священная земля. Не зря там много святилищ, помнящих миллионы паломников. А сколько на Абшере мечетей, погребенных под желтыми песками времени! Не верь, что их больше нет. Они вечны. Все мечети, церкви, синагоги и храмы находятся в душах любящих.

Вместе с тобой улыбаюсь тем, о ком рассказываешь в письмах. Эти люди – настоящие герои, которые не прячутся от самих себя и стараются делать мир лучше. Им не нужна слава, они на первый взгляд обычные. Без мускулов, доспехов, лошадей. Но сколько в них отваги, веры, добра...

Те, кого ты встречаешь по жизни, – учителя. Одни позабудутся уже на следующем уроке, другие навсегда останутся в твоём внутреннем доме. Не важно, будете ли вы в одном городе или на одном отрезке жизни – они теперь в тебе и в том, что ты оставишь после себя.

В 154-м аяте Корана, в суре «Аль-Бакара», есть строчка: «...они живы, но вы этого не ощущаете». По мне, так это о том, что мы не теряем любимых. Ни смерть, ни что-либо другое не может стать между людьми, живущими в сердцах друг друга.

Потеряв близких, мы думаем, что теперь они в другом,

неизвестном мире. На самом деле те, кого любим, всегда рядом. Можем не чувствовать этого физически, но, если обратиться в себя, их возможно даже обнять.

Каждый из нас – чей-то ангел-хранитель.

Завтра покидаю ашрам. Еду дальше. Не знаю, смогу ли оттуда писать.

Аким

Не стой на берегу в ожидании корабля. Плыви ему навстречу

Под окнами теневой стороны ее дома сине-фиолетовыми колокольчиками цветут аквилегии, пахнущие майским утром. «Кто сказал, что у них нет аромата?... Первые два года клумбы выглядели жиденько, хотя я добавляла перегной, взрыхляла грунт, берегла ростки от паутинных клещей. Решила, что не прижились, и забросила. А они возьми да и прояви самостоятельность, через сезон превратившись в густые заросли».

Аквилегиям так же, как и Земфире, лучше в полутени, чем на солнце. «По молодости я много рассуждала о жизни. Как же это бессмысленно! Молчать и наблюдать полезнее».

Свою квартиру в центре города она поделила между дочерьми, а сама вернулась на Абшерон, в заброшенный отчий дом. Занимается цветами. Сад – ее страсть.

«Отец зарабатывал выращиванием гвоздик. Красных, белых, розовых. Строил для них теплицы, где проводил дни напролет. Я ненавидела эту разноцветную махровость, ревновала к ней отца. Как-то забежала в теплицу, перетоптала саженцы. Отец догадался, чьих ног это дело, но не отругал. Следующим утром взял за руку и отвел в теплицу, где начал учить, как сажать гвоздики. С тех пор мы вместе создавали красоту».

Восточные корни не отразились на внешности Земфиры. Белоснежная кожа, рыжие волосы, глаза цвета зимнего моря.

«Выращивать цветы у моря нелегко. Почва соленая, глинистая, сильные ветра. Пришлось насыпать чернозема, построить оранжереи для декоративных растений. Первое время приходилось трудно, дочери не верили, что заморские цветы приживутся, но я не сдавалась».

* * *

Ей исполнилось шестьдесят семь. Мы с мамой пришли поздравить дорогую родственницу. По дороге из института купил ее любимые каллы. Если на Востоке калла передает чувственность, скрытую за строгой формой, то для Земфиры этот цветок – символ возрождения. «Дарила их

себе, когда переживала расставание с Самедом».

Пока мама нарежает торт «Абшерон», Земфира уводит меня в сад, показывает желтые розы. Расцвели накануне.

Она не обращается ко мне по имени. «Мальчик мой», и никак иначе.

– Вчера внучка Эля пришла из школы в слезах. Перед самым выпускным рассталась с молодым человеком. Просит совета, что делать. Сколько раз ей говорила, что ни у кого нельзя спрашивать, верно ты поступил или нет! Жизнь – эксперимент, нам самим предстоит выяснить, что правильно, а что нет.

– Есть же подсказки, тетя Земфира.

– Конечно. То, что слышим в себе. А еще знания, которые получаем. Личный опыт ценнее.

– Эля, наверное, переживает...

– В ее возрасте в отношениях притягивает загадка. Наступит время, когда ей захочется быть со своим мужчиной единым целым, без всяких загадок.

– Эх, вот бы наступило время, когда все по любви и все счастливы...

– Мальчик мой, так будет неинтересно.

* * *

«В объятиях одного мужчины я обрела целый мир. Мне было довольно такого счастья, большего душа не просила. Мы гуляли по безлюдному осеннему берегу, подбрасывали хлеб чайкам, и мне никуда не хотелось.

От этой любви родились близняшки. Сразу из роддома он повез нас к морю. Остановил машину у волнореза, сидели, слушали чаек. „Зема, я привез своих детей к морю, как мечтал“.

Прожили вместе семь лет и четыре дня. Потом он ушел. В другой дом, к другой женщине. „Прости, я ее люблю“. В эту минуту я чистила картошку: нож будто вылетел из рук, развернулся в воздухе, впился мне в живот. Острая боль.

Я молча сняла фартук, накинула пальто и вышла из дома. Бежала часа два, пока не упала на обвитые водорослями ракушки. Оглушительная тишина. Даже чайки не летали.

Однажды встретила Самеда на рынке, он с той женщиной и ее сыном выбирал апельсины.

Первое время ждала, по-прежнему готовила на четверых. Потом меня накрыло ненавистью к себе за то, что люблю того, кто нас предал.

Пыталась выковырять из себя эти чувства.

Четыре года прожила, проклиная себя. Заболела. Миома – операция.

Пришел день освобождения, когда я, увидев в себе следы, не вспомнила, кому они принадлежат. Отключилась идентификация. Время все замечает.

Из той поселившейся во мне пустоты родилась я другая. Мне не стало хуже или лучше, лишь иначе.

Я много работала, вырастила девочек (он о них и не вспомнил), перекрасила дом, спустя годы и вовсе его продала, переехала в центр.

Однажды он появился: „Прости меня, Зема, умоляю“. „Я давно тебя простила“, – ответила. И закрыла дверь. Это была не гордыня, а... отключенная идентификация. Больше не было той части меня, к какой принадлежал этот мужчина, он стал чужим».

* * *

У колодца в ее саду – бело-красные георгины, семена приехали из Японии. В Стране восходящего солнца георгин – символ всепобеждающей силы жизни.

Земфира неспешно рассказывает легенду о ледниковом периоде, когда георгины взошли на месте последнего угасающего костра в знак того, что оледенение не вечно и жизнь на земле воскреснет. Предсказания цветов оправдались.

Разливает чай в стаканчики-армуду, себе темный и крепкий, мне светлый, слабее. Не признает конфет и варенья. Только колотый сахар. В зимние дни, когда цветы засыпают, добавляет в чай гюлаб^[24].

– Мне не хватает терпения, тетя Зема.

– О, знакомая ситуация, непростая. Хотя кто обещал, что будет просто? Знаешь, как персы характеризовали терпение?

– Как?

– Духовное мужество... Мальчик мой, это большая внутренняя работа. Человек – создание торопливое, подавай ему все и сразу – и любовь, и богатство.

– Я не могу быть терпеливым, спешу жить.

– Отговорка. Ты спешишь получить, а это из другой песни.

– Не хочу стоять на берегу и ждать корабля. Надо плыть ему навстречу...

– ...и утонуть на полпути.

– Нет! Я доплыву... Жизнь слишком короткая, чтобы долго терпеть.

– Мальчик мой, послушай. Тугие узлы не распутаешь второпях, только один за другим, терпеливо. Если твоя мечта не выдержала испытания временем, грош ей цена.

Какая разница, что вокруг, если не можешь быть собою

Чем старше я становился, тем отчетливее во мне оживало детство. Воспоминания порывами южного ветра распахивали двери дома, обмахивая веером черно-белых фотографий: вот ты настоящий, и эти пальто, шарф и шапку давно пора снять. «Не сезон еще, хазри за окном». Воспоминания продолжали показывать чистое и счастливое – хроники первых лет жизни. «Для любви нет сезона».

С годами все больше приближаюсь к детству. Распутываю колтуны в седеющих волосах, избавляюсь от иллюзий, смеюсь. Понимаю, как бессмысленно то, за чем прятался. Выглядывают оправдания: «Так ты себя берег». Чушь. Так я пытался быть как все (хотя постоянно говорил о свободе) – получалось или нет, неважно. Главное и смешное в том, что оно того не стоило.

Человек защищен, пока в нем живет детство.

Я прятался от себя, убегал, а надо было вернуться. В детство, где все настоящее. Вместо этого, провожая год за годом, я создавал смутные миражи и настолько в них верил, что и в солнечную погоду не снимал пальто, шарф, шапку.

* * *

Я рос любознательным, энергичным, но молчаливым ребенком. Поздно заговорил и обычно не спешил отвечать на вопросы. Не хотелось. Окружающая меня природа обладала такой богатой гаммой звуков, что слова виделись пустыми, бессмысленными. Предпочитал молчать.

Говорил, когда приходилось или если мои слова могли что-то изменить. Например, просил Пялянга в холодные дни не спать под лестницей веранды. «Сегодня хазри принесет морозы, дедушкино радио сообщило. Спи в будке, не то заболеешь».

Признавался дедушке Асаду, что не люблю говорить еще и потому, что чувства в слове теряют волшебство. «Мама обижается на меня, деда. Говорит: „Ты мучаешь меня молчанием“. Как ей объяснить, а? Не хочу

потерять волшебство! Все вокруг только и делают, что попусту болтают». Дедушка советовал отвечать либо добром, либо никак. «Финик, если будешь отвечать злом, его станет больше».

Он называл меня наблюдателем. «Сейчас тебе интереснее наблюдать за происходящим, но наступит время, и ты станешь рассказчиком. Будь готов к изменениям. Знаешь ли ты, что за жизнь человека меняется даже структура мозга?»

* * *

С трепетом ждал летних каникул – дней долгожданной свободы. Можно долго гулять, засиживаться допоздна со взрослыми, слушая их беседы, и чаще обнимать Пялянга. Мы с ним будем сидеть под тутовым деревом, следя за движением облаков, которые, сливаясь, превращаются в белое море.

В преддверии очередных каникул мама сообщила, что посылает меня в летний лагерь в трехстах километрах от Абшерона – на другой конец страны, где леса, реки, горы. «Тебе надо общаться со сверстниками. Сыновья дядя Алика тоже едут». Я воспротивился, крикнул: «Не поеду!» Мама рассердилась. «Мы все решили! Директор лагеря – папин друг, там будет хорошо».

Какая разница, что вокруг, если не можешь быть собою.

Не дослушав, убегаю в комнату, запираю дверь, выключаю свет, будто лег спать, обдумываю план побега. «До конца учебы четыре дня, потом меня отправят в тюрьму с головастиками Алика. Пора действовать».

Спустя три дня не вернулся из школы. Сел в автобус и поехал в отдаленный и малолюдный поселок Абшерона. Теплицы, дома престарелых, горбатые скалы. Зброшенные маяки. Поселился в одном из них. Невысокий, квадратный, белого камня, с винтовой лестницей внутри и узким окном, подоконник которого стал моей кроватью. На маяке жили я, чайки и бриз Каспия.

Там пробыл четыре дня. Мог бы и дольше, если бы меня не обнаружили полицейские у продуктового магазина.

Девяносто шесть часов абсолютной тишины и свободы. Часто о них вспоминаю. В заброшенном маяке нашел утешение – оказывается, оно возможно не только в объятиях родного человека, но и в стенах, которые принято называть неодушевленными.

Часы напролет сидел на подоконнике, смотрел на каспийский

горизонт. По морю плыли корабли с железными контейнерами.

Там не звучал предрассветный азан, который я привык слышать из нашей с братом комнаты; не росли оливковые и инжирные деревья, в тени которых отсиживался в жару; не пахло молотым фундуком и дрожжевым тестом, из которых бабушка испечет шекербуру. Там было все иначе – ни прошлого, ни будущего. Меня будто отрезали от привычного. Сначала боялся, но преодолевал страх и учился жить настоящим.* * *

В рюкзаке бутылка воды, два зеленых яблока, бублик, вяленая хурма, блокнот и ручка. Достāju бублик, собираюсь его надкусить. На подоконник слетает чайка. Живет на крыше маяка со своими птенцами. Назвал ее Вьюна. Голодна.

Отламываю половину бублика, крошу в ладонь. Вьюна жадно ест. Второй день на Каспии непогода, чайкам не выловить рыбы. Оставшуюся часть крошек птица ухватывает клювом, несет на крышу. Птенцам. Вспоминаю о маме. «Не грусти, Финик. Вы скоро увидите».

Вынимаю блокнот с ручкой, пишу о «своем» берегу, что недалеко от нашего дома. Легчает. «Бумагу переводишь! Даже Вьюна, знай она буквы, ни за что не прочла бы твою дребедень». Отгоняю сомнения, продолжаю писать.

В мои мысли приходит суфий Нияз. «Не слушай сомнений, Финик. У тебя не с ними разговор. Есть ты, твои записи, твоя дорога, ошибки, подвиги – вот на что ты должен смотреть. Я верю, что когда-нибудь твои строки станут лечить, вдохновлять. На самом деле ты пишешь для себя. Чтобы что-то понять, взрастить и отделить от себя. Если возвращенного не отдать, оно будет жечь изнутри».

* * *

Тетя Роза берет меня за руку – резко, жестко, не так, как всегда, – и ведет за собой. Накидывает на шею фиолетовый шарф (скрывает под ним шрам, оставшийся после операции на щитовидке), молчит. Если тетя Роза ничего не говорит, значит, жди нагоняя. Мне не страшно. Мыслями я еще там, на маяке. «Интересно, как Вьюна? Надо отвезти ей бубликов».

Выходим со двора. Дверь остается открытой, жалостливо поскрипывая на усиливающемся ветру. Нам преграждает дорогу стадо белых овец, пастух ведет их в загон. Скоро Курбан-байрам, ни одна не выживет. Люди будут скупать их, как горячие бублики, и забивать под надзором муллы с верой в то, что жертвоприношение обезгрешивает в глазах Всевышнего.

Однажды в разгар Курбан-байрама мы с мамой проходили мимо рынка, вдоль которого тек ручеек крови. С противоположной стороны улицы доносился рев связанного ягненка – его тащили на смерть. Мама остановилась, поглядела на довольных мужиков, закидывающих в багажник одну за другой разделанные тушки, и покачала головой: «Человек создает иллюзию и убеждает себя в ее реальности».

...Стадо проходит, мы продолжаем путь. Приближаемся к недостроенному двухэтажному дому с каменным забором. Во дворе не растут деревья, повсюду сорняки. У забора нет ворот, у дома нет дверей – вход свободный.

Поднимаемся на второй этаж, откуда хорошо видны окрестные дома. На этой улице живут малоимущие семьи, бывшие работники рыбоконсервного завода. После перестройки завод закрылся, людей уволили. Не выпуская моей руки, Роза выходит на балкон и кивает на домик с крышей из сена и неровных кусков шифера.

Во дворе появляется мужчина, сажает в коляску девочку с длинными рыжими волосами и неподвижным обмякшим телом. Накрывает ее одеялом, медленно возит. Туда-обратно, по кругу.

«Девочка тяжело болеет, каждый день может быть для нее последним. Это ее папа. В обеденный перерыв он прибегает с работы домой, чтобы погулять с дочерью. Я знаю эту семью. Им с трудом хватает на еду, поэтому мужчина взял еще две подработки. Как бы ни был он занят, ежедневно гуляет с дочерью. Ему бывает тяжело, он тоже устает, злится, но не сбегает от тех, кто его по-настоящему любит, и тех, кого любит сам. Это называется ответственностью. Воспитывай ее в себе».

* * *

Много лет я прожил в пустой комнате с окном, открывающим вид на прошлое. Стены комнаты оклеены черно-белыми фотографиями. Размытые кадры, улыбающиеся, сосредоточенные, грустные лица. Сидел затылком к снимкам, чтобы их не видеть. Мой взгляд был устремлен в окно, где плескалось море. Непокойное, бушующее, бросающееся волнами, в которых скрыты сети, утягивающие меня назад, в оставшуюся за спиной жизнь.

Оказавшись в комнате прошлого, недоумевал: кто меня заточил? Кто виноват? Обстоятельства, время, люди? Не я же! – наивно оправдывался.

Ночами волны усиливались, становилось страшно. Зашторить бы окна,

но нет ни карниза, ни занавесок. Я зажимал уши руками, только бы не слышать вой прошлого. Оно волнами накрывало комнату, напоминая о болезненном, что, казалось бы, отпустил.

Силы заканчивались, в висках пульсировало желание разбить стекло, выбраться наружу. В один из моментов не выдержал. Дорога, пусть и пугающая, открылась – я прыгнул в воду.

Больно, но выбрался. Погрузился на дно и поплыл навстречу свету, который брезжил в мутной дали. Я в него верил. Там, в теплых лучах, меня ждало освобождение от прошлого – настоящее.

Воспоминания – это тоже реальность

Она гордится своим возрастом – семьдесят шесть. «Как умудрилась столько прожить, сама не понимаю», – улыбается соседка, которую в поселке называли Инжирицей. Помню ее с малых лет. Мама посылала к ней за сушеным инжиром для пирогов.

Обычно я у Наргиз задерживался. Она водила меня по инжирному саду, знакомила с деревьями – у каждого свое имя, особый нрав, личная история. «Деревья – как люди. Только не сорят словами и служат нам, неблагодарным созданиям».

Объездила полмира, работала ткачом, моряком, кондитером, но вернулась туда, откуда бежала. На Абшерон, к инжирным деревьям. Теперь снова ухаживает за ними, собирает плоды, варит из них вкусности, сушит. Большую часть продает.

«Возвратилась другой. Прежней Наргиз не стало. В день гибели того, кого любила сильнее инжирных деревьев. Говорят, нельзя растворяться в мужчине. Я и не растворялась. Я проникла в него, выросла. С адской болью пришлось себя вырезать».

* * *

С детства инжирные деревья для нее – друзья. Только они и росли в большом саду маленького дома. Больше ничего не сажали, почему – неизвестно.

В семье Наргиз мужчин не было, к ее рождению часть умерла, остальные ушли. Дом, полный женских голосов. Лишь пес Гачаг приносил в бабский хор мужскую тональность, оберегая территорию и облаивая пролетающих голубей.

Ни одна из женщин дома – бабушка, мама, Наргиз, тетя – не переживала из-за отсутствия противоположного пола. Все были заняты. Мать с тетей служили в доме главы консервного завода, прибирая хоромы и кашеваря на необъятной кухне. Бабушка варила варенье, готовила маринады и сушила пастилу, сбывая заготовки торговцам городских рынков.

Чем занималась Наргиз? «Моя внучка ухаживает за инжирными деревьями, без которых мы бы померли с голоду», – поясняла соседкам бабушка Бадрия. Сама девочка не могла назвать работой часы, проведенные в окружении друзей, – это было счастьем, которое, несмотря на малый возраст, осознавала. Наслаждалась им, за него благодарила: посмотрит на небо и прошепчет «спасибо».

Наргиз и инжирные деревья – целый мир, куда не пускали ни одного человека. Со стороны эта связь выглядела обычно: тощая девчушка с густыми длинными волосами заботится о саде. Мало кто видел в этом волшебство, которое ни Наргиз, ни инжирники не раскрывали. А если и обращал внимание, то, храня чужую тайну, молчал.

По мере взросления Наргиз деревья все чаще предупреждали о появлении человека, который от них ее отдалит. «Что в нем будет такого, чего нет в других?» Инжирники, покачивая шершавыми листьями, отвечали: «Твое сердце». Наргиз супилась, уходила к колодцу за водой. Знала, что чаще люди приносят не любовь, а зло.

Она хорошо помнила Черную Тучу, прибывшего из шумного города на их полуостров в поисках куска земли для будущего ресторана. Дом семьи Наргиз стоял близко к морю, территория просторная, ровная – Черная Туча сделал выбор. Принес денег – бабушка прогнала, еще и Гачаг облаял. Черная Туча не сдавался, грозился поджечь дом.

Соседи не верили, что он откажется от намеченного. Жалобы в муниципалитет оставались без ответа – все боялись Черной Тучи. Растревоженная Наргиз сорок дней просыпалась на рассвете, молила о помощи Того-Кто-Повсюду.

Одним утром Черная Туча не появился, и больше на Абшероне его не видели. Женщины дома удивлялись, а маленькая Наргиз, поливая деревья, не могла нарадоваться. «Значит, нас слышат!» Встреча со злом показала ей силу добра.

* * *

Сейчас она реже вспоминает эту историю, которая кажется сном, сказкой о ком-то другом. «Я с малых лет понимала, что проживу в окружении инжирных деревьев. Так же, как они, пряталась от мира. Люди думают, что фига не цветет. Но с приходом весны на ее стеблях появляются маленькие груши. Цветки скрываются в них».

Она любила лишь однажды. «Я и сейчас люблю. Только теперь у этого

чувства нет границ, отдаю его всему, что меня окружает. Что бы ни случилось, как бы ни было трудно. Помнишь песню? „Пускай любовь печалью станет, но как на свете без любви прожить“».

* * *

Обнаженные, они лежат под широкоплечим инжирником, среди грозно выступающих корней. В летние месяцы в эти места не заходят люди: среди абшеронцев Извилистая Пещера известна как логово гюрзы. Назе и Галибу тут хорошо, в укрытии старого дерева они ничего не боятся, кроме обоюдной страсти, которая безудержно закипает в них, как инжирный джем с семенами аниса.

Она прижимается к его смуглому телу, кладет голову на левую сторону груди. Слушает переполняющее ощущение, будто вся ее телесная жизнь бурной рекой перетекает в него, но силы ее не покидают. Напротив. Пробуждается новая Наргиз, в которой еще больше любви.

Засыпает под биение его сердца... Внезапно на границе между явью и сном слышит шепот: «Это ваша последняя встреча». Не успевает в полудреме отогнать грустные слова, как просыпается Галиб. Целует ее в белую линию, бегущую вдоль каштановых волос. Не хочет отпускать.

* * *

Помоги мне запомнить дороги, ведущие к тебе, чтобы спустя жизнь прийти к тебе снова. Чтобы сказать, что я помню твои руки из прошлой жизни, смуглые, с длинными пальцами, на моих волосах их следы. Чтобы обнять тебя со спины, слушать море, которое невозможно забыть или вспомнить, – оно в нас. Чтобы попросить тебя всегда слушать сердце, а не разум или тех, кто вокруг. Только так мы сможем встретиться во всех жизнях, что нам предначертаны.

Я не боюсь того, что ты меняпустишь. Со мной ничего не случится, ведь сердце, которое любит, бессмертно. Я не буду скучать или пытаться вернуть, потому что на берегу внутри меня мы по-прежнему вместе. Воспоминания – тоже реальность.

* * *

Родные давно умерли, остались только она, ветхий дом да инжирные деревья. Не заглядывает в завтра, время для нее не имеет будущего. Все тут, сейчас.

«Женщине с моим бесперспективным положением – слабым здоровьем и суровым возрастом – нет смысла думать о грядущем. В этой земной жизни я безбилетный пассажир, который с тревогой ждет, что его вот-вот прогонят. Я не уверена в том, что благополучно доберусь до конечной. Размышляю: ждать, пока мое присутствие обнаружат и непреклонный начальник поезда высадит на ближайшем полустанке? Или спрыгнуть на полном ходу?...

Не обращай внимания, Финик, это мысли отчаяния, которое живет в уголке сознания каждого, даже самого счастливого человека. Я прожила жизнь, как хотела. Я любила все, что делала, пусть и кто-то считал мои действия безрассудными. Эх, было время...»

Опираясь руками о колени, Наргиз встает из-за стола, наполняет банки свежим джемом. Сварила утром.

* * *

«Лучшие всего инжирные деревья приживаются в абшеронской почве. Наши плоды не такие крупные, как израильские, но желтее, слаще. У них недолгая жизнь: утром сорвешь – к вечеру скисли. Поэтому спешу сварить джем».

Бабушка Бадрия срезает хвостики с инжира, режет четвертинками, закидывает в чугунную кастрюлю. Наргиз отмеряет стакан сахара. Перед тем как поставить кастрюлю на огонь, Бадрия достает из сундука мешочек специй (черный перец горошком, анисовые звездочки, палочки корицы) и закидывает в инжир со словами «бисмилляхи рахмани рахим»^[25].

Наргиз подкладывает дров, чтобы усилилось пламя, – джем нужно довести до кипения и варить на среднем огне, не забывая помешивать. Как сироп загустеет, Бадрия снимет кастрюлю с огня, вынет специй. Остывший джем отобьет деревянной ступкой – для пущей нежности.

Счастье, что ты проснулся и живёшь по-настоящему

Вы когда-нибудь замечали, что город – как любимый человек? Он слышит тебя, заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у тебя есть, не задумываясь, больше или меньше. И с городом этим, как с любым человеком, у тебя отношения. Со взлетами, спадами и, случается, разочарованиями. Контрасты. Но какими бы они ни были, намного важнее то, что на глубине, под переменчивым течением моря. Там любовь.

* * *

На втором курсе университета, сдав последний экзамен сессии, мы с другом Бахрузом побежали на вокзал, сели на первый попавшийся поезд и оказались в Стамбуле. У нас было немного денег – скопленной стипендии хватало на недолгое путешествие-приключение, но никак не на переезд, даже временный.

Куда уезжать, когда там, на Абшере, родители, брат, дедушки и бабушки, друзья, Пялянг, сутулые инжирные деревья и учеба в удовольствие. «Пока мы тут, на земле, строим планы, там, над облаками, сменяются, готовя нам неожиданные события и случайные встречи», – говорила бабушка Сона.

Оказавшись на перроне вокзала Хайдарпаша, я прошел сквозь большие двери, прорезанные в старинных величественных стенах, спустился по лестницам и увидел Босфор. Влюбился. И остался.

С жестким планированием мало что получается, Вселенная располагает события по своему разумению, и все в результате оказывается к лучшему.

Первая встреча с Босфором подарила то, что хотел узнать. Красоту, мощь и бесконечность любви. Какими же ошибочными были мои представления! Любовь переворачивает все с ног на голову – долгосрочные прогнозы, защитные реакции, смутные отождествления. Смыкает то, что мешает реке влиться в океан. Тебе ничего не остается, кроме как подчиниться, но это не обреченность. Наоборот, счастье – ты наконец

проснулся, живешь по-настоящему.

Я полюбил город и его пролив. Не сравнивал это чувство с тем, что испытывал прежде. Даже если захочешь, сравнить не получится – другое пространство, другой этап.

Тогда, на берегу, я растерялся – Босфор не помещался в глазах. Его волны под выдохами ветра исходили пеной, чайки над ними тревожно хлопали крыльями. Беспокойство пролива передавалось и мне. «Босфор – как пустыня. Только из воды», – подумал я, прижавшись к фонарному столбу. Неподалеку возмущался Бахруз. «Эй, пошли отсюда! Смотри, какие волны, промокнем. Чертов пролив невзлюбил нас».

Волны подступали все ближе, агрессивно, словно проверяли на истинность чувств. Еще сильнее полюбил Босфор. За то, что он оказался не таким, каким я его представлял. Более глубоким, честным, не выдающим тайн первому встречному.

С той встречи прошло немало лет, а я до сих пор ощущаю первые брызги босфорских волн. Бахруз решил, что пролив меня отталкивал. На самом деле он исцелял, я понял это спустя время.

Я родился и вырос у моря – в шестистах восьмидесяти трех шагах от первой волны. Поэтому осмелюсь сказать, что разбираюсь в оттенках, силе, звучании воды так же, как кондитер-пахлавщик – в тонкости слоев османской пахлавы, раскатывая их до прозрачности тюля.

Босфор обладает силой залечивать раны, возвращать к жизни. Он мастер, искусно настраивающий расстроенный инструмент. Я встречался со многими морями, проливами, океанами. Они прекрасны, но по-другому. Не так, как друг Босфор.

Случались нелегкие дни на земле Стамбула, куда же без них. Я не раз в отчаянии покидал каменные стены, дороги, «не своих» людей, садился на паром, пересекающий Босфор, – и тут же начиналось волшебство.

Чайки, кричащие друг другу о значительном или, быть может, неважном, круговорот волн с бело-кучерявыми хохолками, приветственные гудки плывущих навстречу кораблей, стаканчик горячего чая на палубе, доносящийся с обоих берегов азан с напоминанием о вечном и подвесной мост на оранжевом горизонте.

Через пару минут путешествия нахмуренные брови выравниваются, дыхание успокаивается. Оглядываю Босфор, улыбаюсь. «Благодарю тебя, друг. Нам стоило бы многому у тебя поучиться...» Искусству бескорыстной любви, например.

Босфор не отвечает, лишь мощной волной подталкивает паром вперед.

Говорят, большие города не спят. Это не про Стамбул. Он погружается в сон, когда с наступлением ночи останавливаются вапуры, перевозящие по Босфору сотни людей из одной части города в другую.

Закрываются пристани, утихает скрежет железных колесиков деревянных трапов, на кораблях перестают заваривать чай и запекать тосты с сыром, на темной поверхности пролива изредка мелькают огоньки заблудших танкеров, возвращающихся в свои моря.

Босфор – дом Стамбула, затихающий к полуночи, чтобы с первым азаном нового дня распахнуть свои окна. Что бы ни происходило за пределами дома, пролив любит, бережет и защищает свой покой, без которого давно растерял бы себя в земном хаосе.

Внешне длина Босфора вполне измерима – тридцать километров, но душа его ширины не имеет. Веками напролет пролив дарит любовь, понимание, вдохновение тем, кто приходит к его берегам.

Только человек, вооружившись физической оболочкой, либо раскрывает душу миру, становясь богаче, либо закрывает, уничтожая себя эгоизмом. Мучится выбором, думая, что будет после, и опасаясь сделать шаг к свету.

В Стамбуле у каждого свой кусочек берега, своя чайка и чашечка чая. У меня тоже. Ночами возвращаюсь домой лабиринтами улиц, смотрю на небо, и хочется верить, что нас слышат, оберегают и любят. Пусть даже мы сомневаемся.

Стамбул рассказывает истории. Слышат их не все, только те, кто научился слышать себя. Для одних Стамбул – жесткий мегаполис с вечными пробками, для других – сокровищница с историями, никому не принадлежащими, как и все на этой земле.

Доступ к хранилищу сокровищ есть у каждого, кто сюда приезжает, но не все в него заглядывают. Великое заблуждение человека – гоняться по миру в поисках «своего», тогда как самое важное ближе яремных вен.

Схожу с вечернего вапура на пристани Кадыкёя^[26], иду направо вдоль набережной. Обычно напрямик поднимаюсь вверх, к кварталу Moda, где живу в несуразно узкой четырехэтажке с винтовой лестницей. Сегодня сменил маршрут – мне нужна тишина.

Кто бы мог подумать, что тишина – в сорока пяти шагах от пристани с ее суетой, наполненной сумбурными мелодиями уличных музыкантов, воплями цыганок-цветочниц, гудками прибывающих и отчаливающих кораблей, болтовней светофоров, неустанно объявляющих: «Şimdi karşıya geçebilirsiniz»^[27].

Прохожу через маленький парк, перепрыгиваю невысокий заборчик, оказываюсь на каменистом берегу. Иду к заброшенному маяку. Повсюду россыпи кунжута от бубликов-симитов, дырявые рыбацкие сети, останки чаек с распластанными крыльями. Каменное основание маяка расписано признаниями в любви. Сажусь у маяка, со всех сторон Босфор. Тишина.

Отсюда сумасшествие кадыкёевской пристани кажется сном. Толпы напоминают муравейник. Все спешат (чаще без смысла), многие боятся остановиться.

Наблюдаю за потоком, размышляю: меняется ли современное человечество в лучшую сторону? И да и нет. Мы словно находимся накануне рывка – многое потеряв, начинаем понимать, что если не изменимся, не научимся слышать друг друга, то сами же устроим апокалипсис.

Если в детстве меня вдохновляли детали – игрушки в нашей с братом Пещере Воспоминаний, горшки цветущего алоэ на подоконнике бабушкиной комнаты, аромат горячего шор-гогала на завтрак, пожелтевшие книги с выпадающими страницами, сушащиеся ковры на дачном заборе, –

то с годами больше увлекает общее. Как бы ни спешил, живя в Стамбуле, я всегда хотя бы на минуту останавливаюсь, чтобы взглянуть на горизонт Босфора. Мне нравится смотреть вперед, туда, куда предстоит добраться.

В объятиях истинной красоты напоминаю себе о том, что желание оглядываться не должно стать привычкой. Когда подолгу смотришь назад, сбиваешься с пути и утрачиваешь предвкушение неизведанного.

Мы разные, но мы об одном

По дороге домой прохожу улицей Мюхюрдар, заглядываю в книжный пассаж «Акмар», где до восьми вечера открыта лавка Энгин-бея. Невысокий седоусый старичок в круглых очках. Всегда со стаканчиком чая.

За стопками пожелтевших книг его едва видно. Зато отчетливо слышно, как Энгин-бей читает вслух. «С детства никак не научусь читать про себя. Родители водили по врачам, знахарям – без толку. Поэтому уединяюсь, чтобы никому не мешать. Хорошая книга – магия. Такие воспринимаешь сердцем. Мне важно не только внешнее – сюжет, слог, образы, – но и внутреннее, то, что между строк».

В «Акмаре» он и работает, и живет. Энгин-бей, коренной кадыкеевец, остался без дома. Жена умерла, единственная дочь вышла замуж, родила двойню, переехала с мужем-гитаристом к отцу. В квартире стало тесно. Во время ссоры дочь попросила отца оставить их в покое. «Ты со своими книжками занимаешь слишком много места!» Энгин-бей мужчина гордый. Взял два чемодана (в один сложил вещи, в другой книги) и ушел.

Мы знакомы давно, но только на днях узнал его историю. Обычно мудрый букинист больше говорит о книгах, нежели о себе. «Люблю дочь, что бы ни случилось. Заработанное отношу им. Муж Айше не работает. Не приведи Аллах, внуки будут голодать. Они же растут, им надо нормально питаться».

Директор «Акмара» позволил Энгин-бею жить в подсобке пассажа. «Отсюда до Босфора рукой подать. Счастье».

Покупаю сборник рассказов Чехова. Издание семьдесят девятого. Мягкая белая обложка с загнутыми углами, выгоревшие на солнце желтые страницы. Открываю книгу, первая страница подписана. Мелкий почерк, фиолетовые чернила.

«Сегодня твой день, мама. Мое начало, женщина-сила, опора. Мы разные, но мы об одном. Чувства к тебе не могу объяснить. Это выше слов. Ты отдала и отдаешь все что можешь – пример для меня. Ты подарила мне брата, которого я люблю странной материнской любовью, хоть он старше, крепче. Ты подарила мне Стамбул – этот город навсегда наш. И если

случится следующая жизнь, я хотела бы снова быть твоей дочерью и снова в Стамбуле. С Днем рождения, мама! Ишык. 9.11.80».

Спрашиваю у Энгин-бей, как к нему попала книга. «На Шаир Латифи^[28] сносили пятиэтажку, я проходил мимо и видел, как строители оттаскивают к мусорному баку стопки книг. Забрал их. Среди них был и сборник. У меня есть такое же издание, только двумя годами младше, уже в твердом переплете, и бумага плотнее».

Его любимый писатель – Чехов. Энгин-бей считает, что именно Антон Павлович направил русскую литературу в новое русло. «По молодости предъявляешь претензии к жизни, бунтуешь, злишься на нее, обвиняешь в том, что недодала, недооценила. С годами успокаиваешься. Это не слабость или проигрыш. Просто понимаешь, что все вопросы нужно задавать себе. Человек оправдывает неудачи чем угодно, только не своим выбором. А жизнь... Она проходит. Как и все тут, на земле. Помнишь, у Антона Павловича? „В жизни нет сюжетов, в ней все смешано – глубокое с мелким, великое с ничтожным, трагическое со смешным“.»

Оплачиваю книгу, собираюсь домой. Энгин-бей предлагает пройтись вместе. «Тебе к парку Йогуртчу, так? Нам по пути. Я двинусь к Багдаду^[29], навещу приболевшего друга. Захватил ему Диккенса».

Выходим из пассажа. Перед тем как двинуться дальше, букинист замирает и смотрит на желтую вывеску «Akmar Pasajı. No:70. Noş geldiniz»^[30].

«Боюсь за „Акмар“. Вдруг его разрушат? Вон в Мода сколько всего поносили. Неужели они не понимают, что в этих постройках дух Стамбула? Пусть ветхих, без парковки, зато живых! На „Акмар“ давно зуб точат. Еще с тех времен, когда в газетах пассаж называли логовом сатанистов... Зачем чиновникам книжный пассаж, когда тут можно построить что-нибудь более прибыльное? Недалеко воткнули зеленую громадину „Хилтона“. Говорят, ни к чему земному привязываться нельзя, мол, все равно уйдет, не удержишь. Когда речь о Кадыкёе, я так не могу».

Приближаемся к улицам, где прошло детство Энгин-бей. Он родился в Кызылтопрак^[31], в бордовом доме перед стадионом Фенербахче. Там же выросла его дочь. Энгин-бей вспоминает, как по выходным водил Айше в кинотеатр «Рекс» (когда-то он именовался театром «Аполлон»). В те годы в кино еще не продавали попкорн, поэтому Энгин-бей с Айше заранее готовили его дома.

После сеанса заглядывали в локанту «Чия» на улице с поэтичным названием Солнечный Сад. Лучшего места для обеда не придумаешь! Пока они доходили до «Чия», Айше съедала любимые гезлеме^[32] с сыром и картошкой, которые женщины пекли прямо на улицах.

«В „Чия“ к нам подходил владелец заведения Муса-бей, советовал новые блюда, а Айше, поглаживая пузико, мотала головой. Всем без слов было понятно: дочка не дождалась обеда и наелась гезлеме».

Прогулку они завершали на набережной Мода, где покупали мороженое у Али-уста и подолгу сидели у волн Босфора.

Весь смысл жизни Энгин-бея уместается в одном районе Стамбула – Кадыкёе. Тут детство, встреча с женой, долгожданная дочь, внуки (жаль, что он почти их не видит), «Акмар» и книги, которые он прочтет вслух.

Временами Энгин-бей устает от жизни. «Антон Павлович об этом хорошо написал в письме журналисту Суворину. „Нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, весьма переходное и житейски естественное“. Все проходит, но воспоминания, к счастью, навсегда остаются».

Не переставай верить, что встретишь «своего» человека

В апреле в Стамбуле льют дожди, теплые, короткие. Стоит им перестать, выглядывает солнце, шепчет о лете. Солнце не делит людей по материальному или духовному достатку, национальности, вероисповеданию, цвету кожи или сексуальной ориентации. Не осуждает, не просит благодарности. Светить, оживлять, наполнять силами – природа солнца, без которой его не представить.

Айнур-тайзе^[33] – соседка. Своенравная брюнетка, прямолинейная, некогда режиссер детского театра Кадыкёя. Поклонница вишневой помады, без которой не выйдет даже за утренними симитами.

По вторникам вместе ходим на рынок. Айнур-тейзе следит, чтобы мне взвешивали лучшее. «На восточном рынке нужно быть начеку. Тут торговцы любезничают и одновременно закидывают в пакет гнилую картошку. Тем более приезжаем».

Отбирает помидоры, болтает с продавцом Ибрагимом, мужчиной лет сорока. Который год она покупает у него овощи. Брат торговца выращивает их органическим способом в Трабзоне. Ибрагим жалуется на жену, которая вдруг решила пойти учиться. «Она стала хуже готовить, потому что все время сидит над книгами». Айнур-тейзе хватает помидор, кидает в торговца. Тот успевает поймать. Смеются.

Идем дальше, за фруктами. Разглядывая первую клубнику, соседка рассуждает о любви.

«Странно, когда отношения называют „работой“. Жалуются: мол, приходится уступать, сдерживаться, идти навстречу. Да, не без этого. Но зачем характеризовать работой то, что является любовью? Некоторые женщины представляют любовь так: лежишь себе на диване в доме с видом на море, а любимый интересуется твоим душевным состоянием. Есть и такие мужчины, хотя бы этот Ибрагим, которые считают, что одного их присутствия достаточно женщине, которая создана, чтобы ухаживать, ублажать, терпеть... Это не любовь, а больной эгоизм».

Когда двое любят друг друга, они стремятся быть вместе, в обнимку проживая и радости, и сложности. Нет в этом работы. Любовь – как море.

Такая же необъятная, вдохновляющая, с ураганами и штилями.

Айнур-тейзе встретила «своего» человека на тридцать восьмом году жизни, когда уже ни во что не верила. То ее бросали, то она уходила, пережила болезненный развод и глубокую депрессию. С головой ушла в театр.

«Я встретила Атилла, когда изменила отношение к себе и к миру. Он стал моей наградой. Если человек несчастлив, глупо полагать, что появится кто-то, желающий осчастливить. Ни у кого не хватит ни сил, ни терпения, ни чувств круглые сутки бороться за внутреннее равновесие другого. Истинная любовь может быть между самодостаточными людьми, умеющими быть счастливыми наедине с собой. Встретившись, полюбив друг друга, они решают вместе идти по жизни для приумножения счастья».

Атилла дает ей то, чего она не получала с детства, – заботу. Айнур-тейзе выросла в интернате, где жестокости было больше, чем любви. «Для меня любовь первым делом выражается в заботе. Утром он уходит из дома раньше меня. Звонок, когда я уже на пороге. „Там дождь, не забудь зонт!“ Вечером, если задержусь на работе, встречает. Для кого-то это мелочи, а для меня то, чего всегда недоставало».

Айнур-тейзе старается передать свою женскую мудрость девятнадцатилетней внучке Сыле.

«Говорю ей: ни в коем случае не переставай верить, что встретишь „своего“ человека. Рядом с ним будешь становиться лучше, не станешь ни в чем заставлять ни себя, ни его – все будет складываться само, пусть даже нелегко. Без трудностей никак, они часть жизни. Если отчаешься в пути, значит, пришло время остановиться. Значит, Вселенная хочет, чтобы ты заглянула в себя или осмотрелась. Поняла, увидела, услышала важное, которое сделает тебя лучше».

Попрощайся со страхами, они не стоят потраченных сил

Бегу по набережной. Ноги чуть проваливаются во влажный после дождя песок, отчего бежать сложнее, но интереснее. Трудности придают дороге ценность.

Сегодня взял курс на маяк, пятнадцать километров. С одного бока от нас – дорога к центральной городской трассе, с другого – сонный Босфор с ленивыми медузами и суетливыми вапурами.

Всю ночь штормило, ветер изводил пролив и жителей города. Казалось, затишье не наступит, однако на рассвете ураган вдруг стих, тучи разошлись. Вернулось солнце. То, чего боимся, зачастую так и не случается.

Когда бегу, отключаюсь от себя, становлюсь наблюдателем. Не анализирую, не додумываю, не взвешиваю. Свойственных марафонцам мыслей о финише тоже нет. В эти минуты все мои действия – реакции физического тела. Душа воспаряет; возвращается, когда останавливаюсь.

Бег не бессознательный процесс, наоборот, я слышу и замечаю. Впечатления складываются в тайник, открыть который могу, только когда снимаю кроссовки. Тогда включается анализ.

Бегу, и ветер подхватывает меня, несет вперед. Если раскинуть руки, они превратятся в крылья, и можно взлететь. В беге не хочется обгонять – ни людей, ни обстоятельства, ни себя.

Когда пульс гулкими ударами отзывается в голове, сбавляю скорость. Из соседнего парка ветер приносит аромат эвкалиптовых верхушек, сваи волнореза делятся запахом соленой сырости. Футболка влажными пятнами липнет к спине. На глади Босфора вспышками переливаются блики, улыбаются мне любимыми словами из Гюго: «Если бы Бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылок...» Вперед, Финик!

На субботние пробежки ко мне присоединяется Мири, я покупал у него рыбу на кадыкеевском рынке. Когда-то у него был прилавок, где торговали сам хозяин и мальчишка-помощник. Со временем лавка выросла в магазин.

Мири сорок семь, от второго брака растит дочь, которую назвал в

честь моря – Дениз^[34]. «С ее рождением живу по-другому. Стал внимательнее к тому, что происходит внутри меня. Вернулся к бегу, он помогает ценить покой, без которого ни одно движение не принесет пользы».

Мири бегают в белом, ни разу не приходил в цветном. Он рано поседел, и мягкая серебристость волос мягко дополняет тон одежды. «Белый для меня – паруса. Как говорят моряки, в них душа судна».

После пробежки нарушаем молчание. Сегодня говорим о мечтах. «Парень, если твоя мечта так и осталась бесплотной, значит, твое судно плыло в другом направлении. У всех есть право выбирать – действовать или стоять на месте. Что бы ни случилось, не бойся меняться. Прощайся со страхами, они не стоят потраченных сил».

После первого брака его жизнь, некогда насыщенная и интересная, потеряла краски. Сплошные повторения – море, рыба, рынок, сон, снова море. Решив оторваться от привычного, Мири устроился в ветеринарную клинику. Разгружал машины с кормом, мыл клетки, выгуливал оставленных на передержку животных.

«Я потерял цель. Спасали собаки и бег, хотя казалось, что несусь в никуда. Остановиться не мог, иначе слетел бы с катушек. Спасибо тому периоду, он научил не ждать будущего, жить тем, что есть... Опыт – суровый учитель, его уроки хорошо запоминаются».

В клинике Мири встретил будущую жену Седу. Вернулся к морю, заново открыл магазин. Клиенты дождались добросовестного рыбака.

Будь хорошим. Плохих и так достаточно

Зеленая дверь дома номер четыре на одной из улиц Ортакёя, что ведет к морю и прибрежным рестораникам. Поэтому тут шумно. Но если прийти сюда на рассвете, встретишь тишину.

У зеленой двери много лет сидел Мехмет-бей, садовник дома. Особняк пустовал – хозяева в постоянных разъездах. Обычно к разгару утра Мехмет-бей заканчивал работу по саду (где, как когда-то во всем Стамбуле, цвели лилии) и, надев соломенную шляпу, садился на табуретку возле порога. Читал пожелтевшие книги, пил чай с двумя кусочками сахара, беседовал с прохожими, открывая им интересные места любимого района.

Мне посчастливилось познакомиться с ортакёйским садовником. Он с гордостью показывал подрастающий плющ у зеленой двери, представляя его по имени – Умут. В переводе с турецкого – «надежда».

«Все детство Умут болел, не принимался. Слишком влажная почва из-за соседства Босфора. Хозяин хотел посадить вместо него что-нибудь более стойкое, но я уговорил подождать. У каждого своя скорость жизни. Надо уметь дать себе время, не бежать впопыхах и беречь свой внутренний сад». Помолчав и похлопав меня по плечу, садовник тихо добавлял: «İyi ol. Çünkü kötülerden çok var»^[35].

Беседуя с проходящими мимо туристами, Мехмет-бей по-английски, с легким турецким акцентом, призывал их улыбаться и доверять себе. Философские наставления на фоне восточной экзотики приводили иностранок в восторг. Садовник прожил насыщенную жизнь, ему было чем делиться.

«На пути к „своему“ человеку, который станет наградой за преодоленные трудности, вы не раз впадете в уныние. Будет больно, страшно. В такие мгновения помните: боль – друг. Она привлекает внимание к той части тебя, где возникла неполадка. Страхи учат не отказываться от цели. словно хитрые джинны, они шепчут на ухо: „Остановись, сдайся, мы и есть реальность“. Не подавляйте страхов, посмотрите им в глаза и скажите: „Вы лишь мысли, не больше“. Когда они снова появятся, продолжайте им не верить и улыбайтесь. От безысходности страхи отправятся восвояси, а вы свободно продолжите путь к мечте».

Садовник прав. Пока не встретишь себя, вряд ли кто-то разглядит в

тебе «своего» человека.

Одной осенью Мехмет-бея не стало. Дом продали, улицу сузили лавки сувениров. Умут продолжает жить, разрастаться. Он никуда не спешит...

Всё в твоей жизни живёт и внутри тебя, и снаружи

Города в памяти живут картинками. Мы невольно кадрируем мгновения, храним их мысленным фотоальбомом, который пахнет соленым бризом, трепетными прикосновениями, увядающими тюльпанами или, быть может, пожелтевшими газетами.

Вспоминаю первую картинку Стамбула, которую зафиксировала моя память. Спустя годы встретил ее отражение на фотографии, снятой в конце пятидесятых американцем Чарльзом Кушманом. На ней тот же пассаж «Хаззопуло», носящий имя построившей его греческой семьи. Тут когда-то продавались заморская пряжа и лучшие в городе шляпки (магазинчик мадам Евы хорошо помнят жители района Бейоглу). Здесь же печаталась газета новых османов «Ибрет».

Обычно прихожу в пассаж к семи утра, сажусь на пороге книжного с зелеными ставнями. Наблюдаю за пробуждением города души. К ногам пристраиваются рыжие кошки, ждут завтрака от местных торговцев.

Тут слышно, как закипает движение на улице Истикляль, как скрипят открывающиеся ворота Галатасарайского лицея, видно, как владелец кафетерия Ахмет моет из шланга пластмассовые стулья, а мальчик-сириец насухо протирает их тряпкой. Скоро Ахмет заварит первый чай нового дня, предложит мне чашечку и по традиции спросит: «Поэт-бей, о чем сегодня пишешь?»

Когда становится многолюдно, сажусь на вапур, возвращаюсь домой. На белой стене гостиной в зеленой рамке висит та самая фотография Кушмана, сделанная там, где накануне я пил чай. Пассаж «Хаззопуло», как и все в моей жизни, живет и внутри меня, и снаружи.

Звучи, живи красиво. Расправляй крылья и – в полёт!

Однажды, в тридцатый день апреля, я закинул рюкзак за спину и покинул Стамбул. Внезапно почувствовал манящую необходимость уйти в неизвестном направлении. Пешком. Никаких поездов, машин, самолетов.

Я был молод, крепок, полон сил – все вдохновляло на путешествие.

Дорога в восемьдесят дней. Через горы, степи, реки, леса и по краю моря.

Утром восемьдесят первого дня я оказался на том берегу Абшерона, где вырос. Вернулся туда, откуда пришел. Жизнь – это линии, с рождения разбегающиеся в разные стороны и все равно соединяющиеся в единую бесконечность.

В пути делал в блокноте заметки. Спустя десятки лет перебираю. Они выглядят как наставления некому читателю, но это беседы с собой. С человеком, который, как и все, понимает, сомневается, наблюдает, разочаровывается. Ищет.

* * *

Напишу про вчерашнюю встречу на обрыве скалы, у бушующего моря. Такие пересечения случаются нечасто, становясь финальной засечкой одного отрезка поиска и начальной – следующего. Кто-то скажет: подумаешь, обычный переход, таких столько будет. Согласен. Но какое же счастье накатывает в минуты таких озарений...

Встреча случилась в маленьком прибрежном городке с высокими скалами, где из расщелин выползают цветущие бордовыми чашечками кусты. Не хотел туда, ленился. Как ни сопротивлялся, избежать приезда не смог.

Гулял по незнакомым улицам. Стены старинных домов с налетом морской соли, тяжеловесные балконы (кажется, вот-вот рухнут), повсюду зеленеют лавры, у жителей, у всех как на подбор, глаза изумрудного цвета.

У проложенной по краю скалы дороги заметил ведущую вниз

тропинку. Раздвигая колючие заросли шиповника, двинулся по ней. Идти оказалось недолго: тропинка резко оборвалась, и вот я стою на самом краю скалы. Передо мной – морской горизонт. Как же устрашающе зовет глубина воды...

Тут я и понял, почему обстоятельства буквально заставили сюда приехать, в этот городок с клыками-скалами и вечно холодным течением моря. Здесь меня ждала очередная истина: никуда не спеши, но непременно иди, не бойся неизвестного и преодолевай колючие заросли на своем пути, за ними – сокровища.

* * *

Что тебе ближе: жизнь со знанием или в неведении? Я выбираю первое. Какой бы горькой ни была правда о себе, надо научиться ее принимать. Не зная себя, не увидишь дороги, сплошной туман. Так и будешь метаться между своим и чужим, раня себя и окружающих. Англичане говорят: «Рвение без знания – все равно что лошадь, закусившая удила».

Знакомый однажды сказал мне, что знание отяжеляет, лучше не копаться, а выжимать из жизни максимум наслаждений. Возможно, но рано или поздно источники удовольствия во внешнем мире иссякнут. Накроет пустота, в которой легко задохнуться. Пришло время навести порядок в себе и получать силы из внутреннего источника.

* * *

Перестань жалеть себя и разочаровываться в своих возможностях и умениях. Сними тяжелую одежду не по погоде, откройся изменениям. Поначалу они будут даваться с болью, но это не повод возвращаться в привычное.

Привычное – это не только место и ситуация, но и мысли, отношение. Чтобы начать новое, необязательно все бросать и нестись на другой конец света. Все решения, сомнения в тебе.

Не жалуйся на травмы детства, они были у всех. Не ной, что не встретила любовь, – какая гармония с любимым, если ты не знаешь себя? Не сокрушайся, что твой талант недооценен, спроси себя: достаточно ли ты любишь труд? Не разрушайся от расставаний, не

теряй себя вместе с ними.

Разочарованиям нет конца. Не будь их пленником. Мы намного больше влияем на свое счастье, чем можем себе представить.

** * **

У Вселенной свой план относительно твоей жизни. Как бы ты ни прятался, тебя все равно вытолкнет навстречу изменениям. Однажды шторм снесет твоё убежище.

Человек волен выбирать. Один посчитает, что завершить любимое привычное и начать незнакомое и непредсказуемое невозможно, и останется лежать под руинами. Другой не испугается шторма, который всегда проходит, и раскроет объятия новому.

Важно расслабляться (когда пренебрегаю этим умением, мучаюсь болями в шее), осознавая, что ты не в силах все контролировать. На каком-то этапе жизни полезно отдаться течению. Но даже будучи в потоке, не теряй из виду свою картинку счастья.

** * **

Мы приходим в мир с определенной миссией. Кто-то открывает, развивает её в себе, а кто-то живет в неизвестности. Учись делиться своим умением. Один пишет вдохновляющие тексты, другой готовит вкусную еду, третий лечит больных, четвертый отлично чинит обувь.

Если прямо сейчас тебе нечего сказать миру, пой. Что угодно. Про себя или вслух. В детстве я плохо запоминал слова любимых песен – приходилось допридумывать. И это было прекрасно – пел о чем хотелось. Пиши тексты, сочиняй мелодии, раскрашивай воспоминания. Звучи, живи красиво. Расправляй крылья и – в полет!

Если не слышишь ответов на вопросы, отправляйся в дорогу. Не ленись, не думай, что все будет как обычно, разрушай нелепые границы в голове. Дорога не всегда требует денег, виз, билетов. Путь внутрь себя, который намного важнее внешнего, жаждет только желания. Кто не боится обратиться внутрь, найдет свои дороги и снаружи.

** * **

Когда обсуждаете чужие негативные черты, вы говорите о себе. Вы то, что видите в других, – и хорошее, и плохое. Мы зеркала друг для друга. Зачем нам это? Чтобы мы ценили себя и исправлялись, становились лучше. Не вешайте ярлыков, но делайте выводы и продолжайте путь.

** * **

Внутри нас все время происходит борьба: взрослый человек, ответственный за свою жизнь, противостоит эгоистичному ребенку, непрестанно требующему удовольствий. Если об этом знать, легче принимать мудрые решения – различаешь голос зрелости и детский каприз. Многие мужчины, вымахав до двух метров, лелеют в себе ребенка, отсюда нерешительность и безответственность, на которые часто жалуются женщины.

** * **

Кто-то из духовных учителей сказал, что любовь делает душу сильной, а человек с сильной душой неизбежно становится бунтарем. Я не понимаю тех, кто невозмутимо наблюдает за происходящим и оправдывается философией вроде «на все воля Аллаха». Не буду утверждать, что моя душа сильна, но радуюсь тому, что протестую. Значит, я жив! Бунтарство – это не попытка остановить колесо хаоса или выйти на антиправительственный митинг. Бунтарство – это безразличие к боли ближнего.

** * **

Возможность подняться на новый уровень приходит с принятием себя. Подавление бесполезно и вредно. Нужно познакомиться с собой настоящим, принять себя, простить, попытаться стать лучше. Мы пришли в этот мир исключительно для счастья. Только счастливый человек распространяет добро.

** * **

Любовь нужно в себе постоянно поддерживать. Добрыми эмоциями и поступками, любимыми местами, книгами, людьми, уединением, животными. Любовь – как мышца, которую необходимо постоянно тренировать.

** * **

Вчера меня спросили: что я сказал бы человеку, переживающему душевную пустоту? Я ответил: продолжать сполна ее проживать. Пока не почувствуешь силы встать и сделать маленький шаг.

Не заставляй себя быть счастливым, будучи несчастным, не примеривай на себя бесконечные советы вроде «соберись и заставь себя что-то сделать», «пока ты плачешь, счастье уходит», «время не мечтать, а действовать» и так далее. Еще опаснее сравнивать себя с теми, кто якобы крепче, сильнее, успешнее. У каждого своя скорость жизни. Но даже на дне помни, что наверху светит солнце, и верь, что обязательно наступит утро, когда проснешься и поймешь: стало легче.

** * **

С годами понятия и ассоциации либо корректируются, либо полностью меняются. На нынешнем этапе жизни счастье для меня – это благодарность (сохранить бы это навсегда!) и покой. Любить то, что есть, не ждать идеального момента, стараться сполна проживать каждый день, не унывать, как бы сложно ни было, верить в будущее – это и есть благодарность. Внутренний покой приходит именно тогда, когда благодарен за текущее мгновение, когда не суетишься и не изводишь себя мыслями «могло быть лучше». Только в состоянии покоя можно услышать ответы на свои вопросы и понять, куда двигаться.

С самого первого шага вы идёте навстречу друг к другу

Жизнь – это, конечно же, выбор. Мы выбираем каждый день, каждую минуту, секунду – между добром и злом, светлым и темным. Нам открывается несколько дверей, дальнейшее за нами – с кем, в какую войти. Однако я точно знаю, что в вопросе встречи «своего» человека важно дожждаться. Что мы с самого первого шага идем друг к другу, видя в пути много разных людей. Когда подойдет время (а это решают там, наверху, или, быть может, внутри нас), встреча состоится. Главное, не сдаться и не связывать жизнь с чужаками.

Эта вера жила во мне с детства. Порой мне слышалось, как этот человек осторожно ступал по ракушкам морского берега, наливал себе чай, с хрустом разламывал утренний симит, перелистывал страницы любимой книги или перебирал разноцветные стеклянные шарики на прилавке блошиного рынка.

Я не то чтобы ждал этого человека, я шел к нему. И мы встретились. Лейла.

Эпилог

К тебе всё придет, как только ты всё отпустишь

*Любовь – над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь – звезда, которою моряк
Определяет место в океане.*

Уильям Шекспир

*Я предпочел бы, чтобы на моей могиле было
написано: «Он умер, пытаясь взлететь», а не что-
нибудь вроде: «Он так врос в землю, что мы только
присыпали его сверху».*

Митчел Уилсон

*Город становится миром, когда ты любишь одного
из живущих в нем.*

Лоренс Даррелл

Дядя Аким,

*с твоего последнего письма прошло много лет. Ты уехал из
ашрама, с тех пор от тебя нет вестей. Продолжаю писать на
прежний адрес, не знаю, существует ли он, жив ли ты...
Прости. Временами приходят такие мысли, близко их не
подпускаю.*

Дочь прочла мне слова из одной книги на итальянском (изучает язык, у нее хорошо получается). «Пока тебя кто-то любит, ты не умираешь». Наша с тобой связь – вне времени, я понял это в день, когда увидел тебя за ковром в мастерской.

Сейчас мне столько же лет, сколько было тебе, когда ты отправился в Индию. Только мне сейчас никуда не хочется ехать.

Удивительное чувство покоя, будто сошел с шумного поезда. Долго куда-то стремился, – спеша, улыбаясь, тревожась, – и вот наконец тишина. Я на своем месте, вокруг близкие, вопросов миру меньше. И хурма этой весной цветет особенно красиво, нежно-зелеными пучками.

Мы ко многому относимся как к данности. Сегодня с Лейлой сидели на закате под деревьями и вдруг одновременно сказали: какое же счастье вот так сойти с веранды и оказаться под шелестящими хурмовыми кронами.

День выдался суевливым, приятно провожать его в красоте. Знать, что дети здоровы, пусть и не рядом, идут своей дорогой, а мы молимся, чтобы им повстречались хорошие люди.

Тишина раскрывает в человеке важное. Напоминаю об этом дочери. Может, так она ошибется на один раз меньше. Хотя, как бы родители ни пытались защитить детей, у тех своя доля.

Окружающий мир становится все громче и громче, настолько, что зачастую в тишине людям становится неуютно. Мы постоянно что-то говорим, объясняем, доказываем и, к сожалению, временами оправдываемся. Придаем много значения пене волн, которую через мгновение накроет новой волной.

Суета нас изводит, мы устаем, вешаем нос, закликаясь на материальном и вознося его на пьедестал жизни. Нужно уделять время тишине, уметь останавливаться. Молчание порою – самый красноречивый ответ, возможность прикосновения, которое теплее самого искреннего слова.

Хорошо, когда все в равновесии. Вовремя.

Э.

Дядя Аким,

ты наверняка помнишь дедушку Асада. Сегодня день его рождения. В эту дату не езжу на кладбище. Прихожу на наш с ним кусочек берега, на невысокую скалу, где подолгу сидели. Он читал утреннюю газету, а я, сняв обувь и засучив брюки, ловил ногами брызги волн. Мечтал быстрее вырасти – ноги станут длиннее, и я легко дотянусь до воды.

Дедушка не любил кладбища. По дороге от дома к берегу их было три. Проезжающие мимо машины из уважения к покойным не сигналили и приглушали музыку. Я смотрел на выступающие из земли светло-коричневые камни, пыльные, потемневшие от времени и невнимания живых, и спрашивал: «Деда, почему мертвые под землей? Там мрачно, холодно, всякие букашки. Почему не на небе, где много солнца?» Он прикладывал ладонь к полуразрушенному шершавому кладбищенскому забору. Во взгляде смешанная со смирением тоска. «Ты прав, Финик. Умершим лучше на небе или в воспоминаниях».

Скучаю по нему. Он не упрекал за переменчивость, присущую моему характеру. «Это твоя уникальность, Финик. Кто-то тверд в решениях, но горделив, жесток с людьми. У тебя доброе сердце, это главное. Тот, кто будет укорять тебя за тебя настоящего, не твой человек, он с другого берега».

Дедушка не ругал меня за свободолюбие. В отличие от отца, который считал, что мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить сына – буквально. Когда папа говорил мне об этом, я не мог скрыть удивления. «А те, кто, как дядя Тофиг, живут в пятиэтажке или, как наш учитель по рисованию Алик Гашимович, не имеет семьи, они что, плохие?» Папа вскипал, уходил курить на кухню, где выговаривал маме: «Пожалуйста, наш сын рассуждает как твой отец!» Меня не обижали его слова, наоборот, я гордился своей похожестью на дедушку.

Асад говорил, что море, музыка, немного хлеба, вера и свобода – это все, что нужно человеку. «А любовь?» – спрашивал я. Он доставал из кармана куртки инжирную пастилу с семенами аниса, протягивал мне. «Финик, любовь с рождения в человеке, без надобности искать ее вокруг».

Свобода ценнее любого внешнего комфорта. Без нее человек теряет себя, становится таким, каким он удобен окружающим, погибает. Свобода – это возможность ошибаться, идти против

ветра и мнений, падать и снова вставать, с разбега прыгать в океан, плакать, делиться той драгоценной правдой, что на сердце, быть странным и глупым, любить себя неидеального, но стремиться стать лучше.

Э.

Дядя Аким,

дедушка не вспоминал умерших с грустью или обреченным придыханием. Он улыбался, пересматривая светлые воспоминания.

«Их считают покойными, но они живы. Просто для одних стали невидимыми, для других – еще живее».

Асаду было чуть за тридцать, когда умерла его младшая сестра Замина. Он переживал, забросил дом, работу, себя. Жизнь для него померкла.

Однажды к сидящему у ее могилы Асаду подошел старенький мулла. Опустился рядом, перебирая черные четки. «Долго будешь обнимать камень? В нем нет твоей сестры, как и во всем кладбище». Сначала дедушка разозлился, хотел прогнать сумасшедшего, но помимо своей воли спросил: «Тогда где же она?»

Мулла остановил счет четок и указал хамсой^[36] на левую часть дедушкиной груди. «Все там, в сердце. Вспомни о ней, и она станет ближе».

Я не раз вспоминал эту историю, расставаясь с близкими.

Какой была моя первая встреча со смертью? Я тогда учился в первом классе.

...Сона наливала мне в тарелку овдуг^[37], когда из открытого окна столовой послышался женский плач. Пялянг тихо заскулил, я растерялся, выскочил из-за стола. Бабушка, накинув платок на голову, выбежала из дома. На пороге приказала: «Финик, садись доедай, я к тете Солмаз».

Плач, так похожий на вой, доносился из-за забора, из дома соседки. Хлебнув овдуга и надкусив горбушку, я ринулся за Соной.

Бегу по тропинке вдоль заборов с цветущей малиной, листья

слепят глаза зеленым, солнце над головой цвета давленного абрикоса. Пахнет грушевым лимонадом. Не вяжется вся эта красота с неутихающим плачем.

Уже у калитки тети Солмаз я понял: умер ее сын, страдающий болезнью крови, – из дверей выносили завернутое в ковер тело. Везли в мечеть на омовение. Вслед за мужчинами из дома высыпали женщины. Бабушка, прижимая к лицу платок, обнимала горько причитающую тетю Солмаз. Я заплакал, убежал домой. В саду крепко обхватил встревоженного Пяянга. Мы долго сидели под инжирником...

В исламе смерть – не исчезновение, а переход между мирами. Скорбя по умершему, мы отдаляемся от него, погружаясь в темную яму горечи. Вспоминая ушедшего с улыбкой, согреваем его невидимым объятием.

Э.

Мое тело все хуже мне подчиняется. Старость? Лейла не согласна. «Ты никак с ним не договоришься, Гилавар. Бежишь за одним, а тело советует другое. Стремления у вас разные». Целую жену в шею. «Хорошо, что у нас с тобой они одинаковые».

В ней уживаются женственность, ранимость и одновременно готовность стоять против ветра, смотреть в глаза тому, что несется навстречу.

Я встретил Лейлу спустя череду расставаний. Когда уже не искал, не верил, появилась она, женщина с тонкими запястьями и густыми волосами-волнами.

Лейла открыла новую страницу моей жизни, не перелистывая предыдущие. Называет меня Гилаваром в честь ветра – теплого, переменчивого, дующего с моря.

* * *

Надеваю шляпу, выхожу из дома. Как всегда – к морю.

Иду по дороге из детства. Она, как и многое вокруг, изменилась – сузилась заборами вычурных особняков. Но сейчас я будто не вижу изменений, ведь по дороге идет не грузный любитель букв Гилавар, а тот

самый мальчишка по кличке Финик. Мое нынешнее тело – подуставшее, осунувшееся, местами одрябшее – не успевает за ним, но есть то главное, что живет вне физического, видимого.

По этой дороге к морю я часто шел с дедушкой Асадом. Отчетливо слышу его голос. «Человек ни черный, ни белый – он посередине. Долгие годы ты будешь „нигде“, пока не найдешь себя настоящего и не отыщешь любовь. Она не только в объятиях твоего человека, но значительно шире, выше, глубже. Финик, к тебе все придет, как только ты все отпустишь».

Сегодня море буйное, его звук похож на ток крови в венах – живой, пульсирующий, преодолевающий все препятствия. В шуме Каспия слышу голоса из детства, перед глазами раскрываются картинки волшебного времени жизни.

Вижу старушку Гюльназ в шелковом фиолетовом платке. По понедельникам соседка приходила к нам, заваривала хну, молилась за упокой душ ушедших. На Абшероне понедельник называли женским днем. Женщины собирались под одной крышей – общались, готовили еду, оживляли волосы хной, читали дуа^[38]. Гюльназ расплетала длинные мамины косы, вычесывала их гребнем, пропитывала маслом кардамона перед окрашиванием, заодно и истории вслух перелистывала – о себе и мире.

Я прятался под столом, подслушивал.

В роду Гюльназ мужчины надолго не задерживались. Они либо исчезали, либо умирали. Это можно было бы назвать проклятием, если бы не дар, которым награждались женщины семьи Гюльназ, – каждая из них познавала любовь. Пусть вспышкой, пусть возможностью увидеть, испытать, попробовать и потом лишиться, но до последнего вздоха вспоминать, благодарить. За то, что было, хоть и ненадолго. «Значит, я жила».

«Моя мама Биби-ханым, да упокоит ее душу Аллах, говорила, что мужчины уходили от нас из-за того, что мы слишком их любили. По-моему, дело в том, что к сильным женщинам обычно тянутся слабые мужчины. Оживляем их своими чувствами, потом они уходят к другим».

...Прохожу мимо инжирника и слышу голос троюродной сестры Натаван, с которой лазили по веткам деревьев. У нее были веснушки на все лицо, над губой шрам-полумесяц. Приезжала к нам на каникулы из горной деревни, где жила с рождения.

Ей было пять лет, когда она впервые увидела море. Любила вспоминать эту встречу.

Они с мамой ехали две ночи, сначала автобусом, потом на поезде. На

Натаван был льняной сарафан горчичного цвета, пропахший корицей, – ее мама раскидывала кусочки коры по полкам шкафа, чтобы не заводилась моль.

«Помню, мои ноги натерли сандалии из желтого дерматина, было больно, но я жевала кизиловую пастилу, только бы не капризничать. По случаю большой встречи мама разрешила намазать ногти хной. Хотелось понравиться морю. Приближаясь к нему, я ждала, что волны раскроют тайну – только мне и никому больше. Этого не произошло. Зато тогда я впервые влюбилась. В волны».

* * *

Возвращаюсь домой, сажусь за письменный стол. Записываю истории, нашептанные мне бризом. Где-то в глубине дома бранится Лейла – я снова забыл снять ботинки, теперь пол в ракушечном песке.

Через какое-то время она тихонько приоткрывает дверь и ставит на мой стол кружку с чаем. Знает, что после каждой главы я встаю, подхожу к окну, пью чай и смотрю на исписанные листы, к которым, чуть передохнув, возвращаюсь.

...Ты против, чтобы я писал о тебе в своих историях. Но как не сказать о человеке, который подарил тебе новый мир? «Достаточно того, что мы вместе стоим на одном берегу. А тексты... Это другое. Они ведь окажутся в руках людей, которых нет на этом берегу».

notes

Примечания

1

Водяная мята (*азерб.*).

Слово, состоящее из терминов «бытие», «знание» и «блаженство» (санскр.).

Машаллах – ритуальное молитвенное восклицание, используется при выражении радости, хвалы и благодарности Богу и смиренного признания того, что все происходит по Его воле (*араб.*).

Гладкий двусторонний тканый ковер ручной работы (*уран.*).

Мастер (*азерб.*).

Гусейн Джавид – азербайджанский поэт, драматург.

Надежду каждый раб в душе хранит, мечтая, / Свою святыню чтит
любой искатель рая. / У каждого – свой бог, своя любовь святая, / Мой бог –
любовь и красота (азерб., автор Г. Джавид, перевод М. Синельникова).

Так на Востоке называют владельца или работника чайханы.

9

Чего считать, если чай пьешь (*азерб.*).

Господа (*азерб.*).

Выпечка с начинкой из молотого миндаля.

Кислая или сладкая приправа-пастила из уваренного фруктового сока.

Предрассветная, первая по счету молитва в исламе (*араб.*).

Восславление Аллаха словами «Аллаху акбар», с них начинается молитва (араб.).

Иранская поэтесса, кинорежиссер (1935–1967).

Стихотворение «Волны» Ф. Фаррохзад, перевод Н. Ворнель.

Азербайджанский суп на мясном бульоне с лапшой домашнего приготовления.

Приятного аппетита, детка! (*азерб.*)

Сок незрелого винограда. После непродолжительного брожения используется в азербайджанской кухне.

Сура «Аль-Анкабут», аят 57, Коран.

Восточная сладость из муки, протертой с водой в мелкие крупинки, масла и сахара. По традиции ее готовят в день смерти близкого человека, читая молитву за упокой его души. Большую часть раздают нуждающимся.

На Абшероне существует поверье, что созревшие инжирные плоды, видевшие дожди, есть нельзя. Поэтому местные жители спешат собрать урожай.

«И познает любовь не любивший ни разу, и полюбит вновь тот, кто уже отлюбил». Цитата из древнеримской латинской поэмы «Ночное бдение Венеры». Автор и точное время написания неизвестны; современная наука датирует текст IV веком н. э. Поэма представляет собой лирические излияния несчастного влюбленного, перемешанные с описанием весеннего праздника на Сицилии в честь богини Венеры.

Розовая вода, продукт дистилляции лепестков розы, ее добавляют в сладости и напитки.

«Во имя Аллаха милостивого и милосердного» (*араб.*). В исламе фразу «бисмилляхи рахмани рахим» произносят перед началом любого важного дела.

Самый древний район Стамбула, первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э.

Сейчас вы можете перейти на противоположную сторону (*турец.*).

Улица в Кадыкёе.

Центральная улица Кадыкёя.

«Пассаж „Акмар“. № 70. Добро пожаловать» (*турец.*).

Округ в Кадыкёе.

Лепешки из тонко раскатанного теста с начинкой из мяса, зелени, сыра или картофеля.

Тетушка (*турец.*).

Море (*морец*).

Будь хорошим. Плохих и так достаточно (*турец.*).

Амулет в форме ладони, которым пользуются евреи и арабы.

Кисломолочный холодный суп наподобие окрошки, со свежими овощами и зеленью.

Мольба (*араб.*).